ЕЛЕНА БОННЭР

ДО ДНЕВНИКОВ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

От редакции журнала «Знамя»

В свое время журнал «Знамя» впервые в России опубликовал «Воспоминания» Андрея Дмитриевича Сахарова (1990, №№ 10—12, 1991, №№ 1—5). Сейчас мы вновь обращаемся к его наследию.

Роман-документ — такой необычный жанр сложился после расшифровки Е.Г. Боннэр дневниковых тетрадей А.Д. Сахарова, охватывающих период с 1977 по 1989 годы. Записи эти потребовали уточнений, дополнений и комментариев, осуществленных Еленой Георгиевной. Мы печатаем журнальный вариант вводной главы к Дневникам.

***

РЖ: *Раздел книги, обозначенный в издании заголовком «До дневников», отдельно публиковался в «Знамени», но в тексте есть некоторые отличия. Насколько изменен журнальный вариант по сравнению с книжным?*

Елена Холмогорова, редактор «Дневников»: Главным образом, он сокращен. Сокращен сильно, - я думаю, на треть примерно, не меньше. И, кстати говоря, «До дневников» - вполне самоценный документ. Помимо всего прочего, у Елены Георгиевны несомненный литературный дар, она все-таки автор довольно большого количества книг. Я очень люблю ее «Дочки-матери» - автобиографическую книгу.

После публикации в «Знамени» мы получили письма разгневанных читателей, что далеко не все интимные вещи могут стать предметом обсуждения. Воспоминания все-таки составлялись иначе. Они литературны по форме, и понятно, что стремление к обобщению здесь гораздо больше, чем в дневниках. А дневники - это обнаженная, исповедальная вещь, что жанр и предполагает.

- Елена Боннэр
  -
  - Год 1970
  - Год 1971
  - Год 1972
  - Год 1973
  - Год 1974
  - Год 1975

    - Год 1976
    - От редакции
- notes
    - 1
    - 2
    - 3
    - 4
    - 5
    - 6
    - 7
    - 8
    - 9
    - 10
    - 11
    - 12
    - 13
    - 14
    - 15
    - 16
    - 17
    - 18
    - 19
    - 20
    - 21
    - 22
    - 23
    - 24
    - 25
    - 26
    - 27
    - 28
    - 29
    - 30
    - 31
    - 32
    - 33
    - 34
    - 35

Елена Боннэр
До дневников
(сокращенный журнальный вариант)

Наверное, я должна была начать работу с Дневниками сразу после смерти Андрея, когда впервые прочла их не по кусочкам, как повседневное чтение, которое Андрей вменял мне в обязанность, а как единый неразрывный поток нашей жизни. Но это было так трудно, так больно и психологически, и физически, что у меня не хватило сил преодолеть эту боль. Преодоление ее растянулось на долгих 11 лет. И на все эти годы я как бы выбросила их из памяти. Только весной 2001 года я заставила себя вновь открыть эти тетради. Решила, что раз уж довелось дожить до нового тысячелетия, то я не могу позволить себе не сделать эту работу. И как угадала — тысячелетие началось именно в этом году, только в Истории оно помечено не январем, а сентябрем.

Все годы, когда я не касалась Дневников, я постоянно работала с тем, что у специалистов называется биографическим материалом. Часто ощущала себя в этой работе дилетантом, но она создавала иллюзию продолжения нашей совместной с Андреем жизни (по-нынешнему можно сказать — виртуальная близость) и сохраняла присущее мне изначально чувство радости бытия.

Особенно легко мне работалось над историей семьи Андрея. Я как будто все время переговаривалась с ним, рассказывала то, что мне удалось раскопать, чего он не знал, даже внутренне посмеивалась над его неосведомленностью. Была вольна в любом слове, и единственно чем руководствовалась в изложении — это точному следованию всем разысканным документам. Поэтому и назвала эту работу «Вольные заметки к родословной Андрея Сахарова».

С дневниками все складывается по-другому. Никакой легкости, радости от работы нет и в помине. Наверно, сказывается и мой возраст, и то, о чем Дневник рассказывает, и то, что Дневник этот не очень типичный. Он не совсем Андрея, а в какой-то мере наш общий. Андрей начал его вести через 6 лет нашей совместной жизни, и в нем много временных пробелов. Он не был педантичен в его заполнении. А часть дневников была украдена КГБ.

Уговорить Андрея на дневник было сложно, и через три года

нашей общей жизни я стала, к сожалению, от случая к случаю, записывать какие-то рассказы Андрея о его прошлом. Я всегда давала их ему прочесть, и иногда он расписывался в конце записи. Мне не пришло бы это в голову, но, слушая передачи «Голоса Америки», я узнала, что так делал автор книги о Шостаковиче музыковед Волков. Вроде как приватизировала чужой опыт, но больше все-таки эти подписи — была наша игра. Игр было много — мы оба оказались люди играющие.

Сопротивление Андрея ведению Дневника мне удалось преодолеть только после нашей первой долгой, более четырех месяцев разлуки, в 1975 году. Весь 1976 год я упрекала его, что не все знаю об этих четырех месяцах. И 1 января 1977 года была начата первая дневниковая тетрадь. Начала ее я. На титульном листе мною написано ТЕТРАДЬ № 1.

И первые записи в ней мои. Только 25 января появляется очень краткая запись Андрея. И с этого дня вначале очень скупо и нерегулярно, но день ото дня становясь все более пространными, идут его записи. И при сопоставлении этой тетради с последующими видно, как постепенно дневник становится отражением не только внешних событий, не только быта, но и бытия.

Мне кажется важным отметить несколько моментов. Это отношение к Дневнику как к работе. Именно это слово — работа — Андрей начинает употреблять в тексте в последующие годы. Это представление о том, что Дневник будут читать другие (не только я), и даже прямые указания будущему читателю, например, о какой-либо книге «кто не читал — прочтите».

Это отраженная в Дневнике смелость и полнейшая честность с самим собой в попытке разобраться во внутрисемейных конфликтных ситуациях и идеологических или нравственных расхождениях с окружающими, особенно в диссидентском кругу. Реже с коллегами. Стремление разрешить эти коллизии, сохраняя взаимное уважение и приязнь. И уверенность, что разрешены они могут быть только при полной взаимной открытости. Чаще всего речь в этом плане в Дневниках идет о детях. И у меня был соблазн убрать эти места из Дневников, отложить до последующих изданий, то есть для будущих поколений. Однако тогда из Дневников исчезнет и то, чем эти записи продиктованы, — прежде всего любовь к детям и забота о них.

Это стремление доказать (или показать?), что для него было неприемлемо отношение к нему как к вождю, пророку, символу, что прежде всего он человек, и этого человека он готов защищать с той же отвагой, как защищает других людей — защищать до последнего дыхания. Абсолютно точно выбранный жизненный

принцип: «Если я не за себя, то кто я? Если я только за себя, то зачем я?» Может быть, это главное послание будущему читателю дневников. Дневники Сахарова — документ мифоборческий, в котором он сам разрушает миф о себе.

Я сохранила все написанное Сахаровым в Дневнике и все свои записи в нем без единого сокращения и какой-либо редактуры. И этот основной корпус книги отражает то время, когда Дневник создавался. Но примечания я начала писать спустя 12 лет после ухода Андрея из жизни. Это уже другое время, другие (мои!) оценки, и они (я это сознаю) субъективны.

Я старалась меньше писать о том, что уже в какой-то мере было сказано Андреем в «Воспоминаниях», в книге «Горький—Москва, далее везде», в моих книгах «Постскриптум», «Вольные заметки к родословной Андрея Сахарова» и в эссе «Четыре даты». В примечаниях я хотела, насколько мне это представлялось возможным, отразить нашу личную, семейную жизнь, наше мироощущение внутри нее, хотя оторвать это от того, что принято называть общественно-политической деятельностью, почти невозможно. Все переплеталось, и результаты наших попыток разграничения были иллюзорны.

При первоначальной моей попытке писать примечания в общепринятой безличной форме я поняла, что совершаю насилие над собой. Они сознательно написаны от первого лица. Я разрешила себе употребление местоимения «я» и Андрея в них называю Андрей, а не Сахаров.

В текст дневника вставлены (с учетом хронологии) некоторые разговоры на записках, стихи, письма, телеграммы и другие записи, носящие дневниковый характер.

Дневники охватывают 1977—1989 годы, причем последние три отражены в них крайне фрагментарно. Но мне хотелось (и я полагаю, что имею на это право) отразить нашу жизнь от первой встречи и до конца в более личном плане, чем это сделал Андрей в своих «Воспоминаниях». Поэтому я решила предварить Дневники этой вводной главой, которая охватывает временной период от октября 1970 года и до первой тетради дневника 1977 года.

Год 1970

В мае 1970 года я привезла из Ленинграда письмо Револьта Пименова, адресованное Андрею Дмитриевичу Сахарову. Идти к академику мне почему-то не захотелось, хотя робостью перед кем бы то ни было никогда не страдала. В обеденный перерыв я встретилась у метро «Динамо» с Юрой Шихановичем и попросила его передать письмо адресату. Он тоже не захотел к нему идти. Мы немного попрепирались, и он согласился положить письмо в почтовый ящик академика. Спустя год или два Сахаров, узнав, как письмо это к нему попало, сказал мне, что от судьбы нельзя отвертеться и что я просто украла у него (у нас) несколько месяцев знакомства. Очень любил он слово «судьба».

Шел октябрь 1970 года. В Калуге был назначен суд над Пименовым и Борисом Вайлем[1]. У нас уже несколько дней жили Виля — жена Пименова — и Наташа Гессе, приехавшие из Ленинграда. Вечером 19-го Вайли, которые жили у Шихановичей, привезли к нам Диму, своего четырехлетнего сына. Он на время суда оставался под опекой моей мамы и моих ребят. А Вайли, Виля и Наташа уехали на суд в Калугу. Я же в этот вечер уезжала в Ленинград, чтобы сделать передачу Эдику Кузнецову. Вернулась через день утром — и сразу на работу.

И вечером вместе с отцом Револьта Пименова поехала в Калугу на суд. Ночевала я в гостинице в номере Вайлей на диване, куда меня подселили после настойчивых просьб основных жильцов номера. В этой гостинице остановились еще несколько наших друзей. Но большинство, в том числе Виля и Наташа, а также Сахаров, жили в другой гостинице. Утром в коридоре суда нас было человек 25. Помню Шиха, Наталью, Айхенвальдов, Кристи, Ковалева, ленинградских математиков.

В середине дня Вава Айхенвальд, Кристи и я пошли в магазин и купили на всех молоко, кефир и какие-то булочки. Во время перерыва в заседании к нам спустились из зала суда Боря и Люся Вайли, Виля и Сахаров. Тогда я впервые его увидела и, как всем, предложила на выбор бутылку молока или кефира и хлеб. Он так панически отказался, как будто я предложила ему мышьяк. Мне показались в этом отказе брезгливость и элемент пренебрежения. Это не понравилось, и знакомством (как пишет Сахаров) я это мимолетное столкновение не сочла.

Я, как и все мы, относилась заочно к Сахарову с неким, почти обязательным в нашей среде пиететом. И не только читала его манифест[2], но даже умудрилась в сентябре 1968 года привезти из Франции, где гостила у маминых сестер и братьев, пять

экземпляров тоненькой этой брошюры. Умом я понимала ее важность и значение на фоне нашей глухой тишины и безгласности. Но эмоционально она показалась мне не очень интересной, была для меня излишне наукообразной и суховатой. А может, была просто не по зубам? Единственно, что тронуло и вызывало симпатию, это эпиграф[3]. Казалось, за ним стоит кто-то очень искренний.

После оглашения приговора Пименову и Вайлю (обоим ссылка) на обратном пути в Москву в электричке мы с Сергеем Ковалевым забрали у Сахарова папку, которую ему сунула Виля, украв ее со стола судьи. Назавтра мне позвонила из Калуги Виля и сказала, что надо срочно вернуть эту злосчастную папку, иначе ей не дадут свидания. Я ехать не могла, у меня в этот день были лекции. Вызвала нашего общего с Пименовыми друга Володю Козаровецкого, и тут выяснилось, что почему-то Сахаров отдал нам с Сергеем не все документы из папки, а только часть. Володя сказал, что в Калугу он поедет, а к Сахарову ехать боится. Я попросила Валерия Чалидзе взять у Сахарова оставшиеся бумаги. Он не мог, и я сказала, что пошлю за ними Таню. Валерий предупредил об этом Сахарова. Сахаров спросил, как он узнает, что это та девочка, которой надо отдать документы, а не подосланная КГБ, ведь все переговоры шли по телефону. На это Валерий ответил, что вы ее узнаете, она похожа на свою маму. Так я узнала, что Сахаров видел меня у Валерия и спрашивал его обо мне. Но я такой встречи не запомнила. Так с этой папкой вышла история, попавшая в Историю. А у нас с Сахаровым появилось первое разногласие. Он утверждает, что встретился со мной задолго до суда над Пименовым и Вайлем, а я утверждаю, что увидела его впервые в Калуге.

25 ноября был день рождения Валерия. Но я с Сахаровым там не общалась. Там было форменное столпотворение, и стоял такой шум, что вообще ничье и ни с кем общение было невозможно.

С начала лета (точней, в июне) я оказалась вовлеченной в известный в истории еврейской эмиграции судебный процесс «ленинградских самолетчиков». Одним из арестованных по этому делу был Эдуард Кузнецов.

Эдуарда Кузнецова привел к нам в дом Феликс Красавин, сын подруги моей мамы, мой давний друг и в прошлом многолетний политический заключенный. Привел 2 октября 1968 года в день освобождения Кузнецова из Владимирской тюрьмы. Он отсидел 7 лет по ст. 70-72 (Антисоветская агитация и пропаганда, антисоветская организация). Кузнецов, не имевший права жить в Москве, прописался в городе Александрове и поступил на работу. Он не очень часто, но регулярно тайно приезжал в Москву и

иногда ночевал у нас. Ночевать у своей матери боялся, так как имел основания считать, что ее брат, живущий в этой же квартире, сразу донесет в КГБ. Он хотел выехать из СССР, а единственной возможностью в те годы, для таких, как он, был фиктивный брак — женитьба на еврейке. Кто-то из друзей (кажется, Юра Меклер — тоже бывший зэк) нашел в Риге невесту. Я и все члены моей семьи и друзья сообща помогали Эдуарду готовиться к этому предприятию и даже собрали деньги на приличный костюм для свадьбы. Эдик женился, прописался в Риге, поступил на работу и, я полагала, подал документы на эмиграцию.

Я видела Эдика 9 мая 1970 года в Ленинграде в доме Меклера, где он был вместе с друзьями и с женой. Тогда я с ней познакомилась. Но что-то в их поведении меня насторожило, и я, когда мы прощались, спросила у него, так как отношения всегда были доверительные: ты от меня что-то скрываешь? И он странно ответил: «Мне очень не хочется тебе врать, поэтому ничего не спрашивай у меня». И я подумала, что это старая романическая история (я знала о такой) или новая. В ночь с 14 на 15 июня меня разбудил телефонный звонок Эдика. Я решила, что у него что-то случилось. Сказал — нет, пока все в порядке, просто захотелось поговорить. Странное время и странный звонок. Утром мама, которую ночной звонок тоже разбудил, спросила, кто звонил. Я сказала, что Эдик и что он был какой-то странный. И мама на это ответила: все они странные, вчера Юра был странный, сегодня Эдик. Действительно, накануне у нас был Юра Федоров (тоже бывший зэк, которого к нашему дому привадил Эдик) и предупредил, чтобы я почистила дом от всякого сам- и тамиздата. Написал на листке, что он точно знает, что завтра будут обыски. Обыска у нас не было, был нормальный выходной день, но позвонила Бэла Коваль и спросила, не слышала ли я чего-нибудь особенного по западному радио. Нет, не слышала. А в четыре часа пришли жена Федорова Наташа и Володя Тельников. Наташа сказала, что у нее был обыск в связи с тем, что группа людей, в том числе Федоров, намеревалась захватить самолет в Ленинграде на областном аэродроме[4]. В первый момент это сообщение показалось бредом. Но, сопоставив его со звонком Бэлы, я поняла, что она что-то знает, лучше ей не звонить, чтобы не наводить на след, и решила лететь в Ленинград. Там, взяв такси, я поехала в областной аэропорт. В аэропорту было тихо и безлюдно, почти нет пассажиров, и не видно, чтобы кто-то наблюдал за входящими и выходящими. Я разговорилась с приемщиком багажа. От него я узнала, что утром на летном поле перед посадкой в самолет были арестованы 11 человек и что

между двумя группами людей КГБ (позже выяснилось, что между сотрудниками ленинградского и центрального ГБ) была ссора, чуть не драка, в какие машины их грузить, и еще он сказал, что среди арестованных были три женщины. Поехала на аэродром в Пулково, первым самолетом вылетела в Москву и в 9 утра была на работе. Через день или два из Риги стало известно, что большинство арестованных рижане-евреи. Но есть трое русских — Кузнецов, Федоров, Мурженко. И родственникам надо ехать в Ленинград, чтобы сделать передачи и говорить со следователями. Мама Кузнецова ехать отказалась, ссылаясь на плохое здоровье. Тогда я с помощью знакомого врача соорудила доверенность от нее, в которой указывалось, что я тетя ее сына. Тут я узнала, что отец Кузнецова был еврей (его фамилия Герзон), и что в 1953 году она после смерти мужа вернула себе девичью фамилию и одновременно поменяла сыну фамилию с отцовской на свою. Так я стала тетей Кузнецова, хотя это было несколько рискованно. И моя мама была крайне обеспокоена тем, что я ввязалась в эту историю. К Эдику она относилась с некоторой амбивалентностью — с одной стороны, бывший зэк, и тут все ясно. А с другой — она называла его «помесь урки с философом»: урок она не терпела. И не раз говорила мне: «С той же легкостью, как он вовлек в эту авантюру рижских ребят и Юру, так бы мог вовлечь в нее и твоих детей».

Я моталась между Москвой и Ленинградом, дважды летала в Ригу, познакомилась с родственниками арестованных рижан. Делала передачи Кузнецову, встречалась со следователем. Нанимала адвокатов нескольким заключенным. Я тогда говорила — нужны адвокаты в товарном количестве. И был такой разговор с одним из предполагаемых защитников. Я спросила, какова может быть такса за защиту? Деньги-то были общественные, собранные по трешкам и пятеркам. Он назвал мне примерную сумму, которую надо будет внести за каждого подзащитного в юридическую консультацию. И добавил: «А остальное, как подскажет ваша интуиция». На это я ответила, что у меня нет соответствующей интуиции, есть только врачебная. С адвокатурой я имею дело впервые, так что на «интуицию» не надейтесь — ее не будет. Кстати, потом я с этим адвокатом вполне сдружилась. И все адвокаты, участвовавшие в этом процессе, обошлись без «интуиции».

Дома в это время было невпроворот дел помимо работы и повседневных забот. На 4 декабря была назначена свадьба моей дочери Тани и Ефрема Янкелевича. Мы шумно, отключившись от судебных дел, отпраздновали свадьбу ребят. Вначале хотели устраивать ее в каком-то кафе, но потом решили, что дома лучше.

И не ошиблись. Несмотря на невероятную тесноту, было как-то светло и радостно. В середине застолья скопом вышли на улицу и проводили Таню и Рему в подмосковный санаторий, где они провели свой медовый месяц, правда, укороченный до двух недель. Такие пересечения радости от события жизнеутверждающего — свадьбы — и тревоги в ожидании суда, в котором предполагались смертные приговоры, были постоянным фоном нашей жизни. Эти дни, может быть, один из самых ярких тому примеров.

Суд в Ленинграде начался 15 декабря. Возвращаясь с судебных заседаний (я уже числилась тетей Эдика, и меня допустили на суд), я каждый вечер подробно записывала содержание судебного следствия. И кто-то из друзей (чаще всех Бэла Коваль) ночью отвозил мои записи в Москву для передачи двум Володям — Буковскому и Тельникову, которые их передавали иностранным корреспондентам. Таким образом нам удалось привлечь внимание к процессу практически всей западной прессы.

На десятый день суда был вынесен приговор. На чтение его в зал, кроме специально подобранных людей, пустили и нескольких друзей, находившихся в коридоре здания суда. Приговор был оглашен судьей Катуковой: две смертные казни — Кузнецову и Дымшицу — и большие сроки всем другим подсудимым, кроме одного. После зачтения его в зале, где, кроме родственников, было более 100 специально подобранных людей, раздались аплодисменты. Меня как выбросило в проход, и я закричала: «Только фашисты могут аплодировать смертным приговорам». Ко мне кинулись милиционеры и стали тащить в сторону судейского стола, а сзади в меня вцепилась Бэлка, тащила от них и кричала: «Не дам, не дам». К нам бросились другие родственники осужденных, и милиционеры отступили. Но люди, выходившие из зала, шарахались от нас, как от чумных.

Так закончился суд. Это было 24 декабря в первый день Хануки. И родственники осужденных сразу после оглашения приговора поехали в синагогу. Я, в состоянии почти невменяемости от двух смертных приговоров, жестоких сроков другим и свалки, которую сама неосознанно устроила в зале суда, поехала вместе с ними. И единственный раз в жизни оказалась в синагоге. На следующий день мне дали свидание. Два часа. В кабинете начальника следственного изолятора. Он сидел за большим столом. Мы с Эдиком сбоку за маленьким напротив друг друга. Помню, что был дневной свет. А в Ленинграде в декабре поздно светает и рано темнеет, видимо, было это между двенадцатью и двумя. Я достала из сумочки шоколадку и

апельсин. Начальник сказал, что вообще-то это не полагается, но не запретил. Эдик грыз шоколад, натужно шутил, вспоминал строчки Вийона «…и сколько весит этот зад, узнает скоро шея».

Когда вернулась к друзьям на Пушкинскую, где я жила все дни суда, позвонила Ирина Тарсанова — жена поэта Михаила Дудина. Звонок был неожиданный, мы уже давно не виделись. Она сказала, что у Миши было желудочное кровотечение, что он в больнице и просит меня навестить его.

Истоки моих литературных знакомств, а зачастую и многолетних дружеских отношений лежат в моем детстве и отрочестве. Я училась в одном классе с Всеволодом Багрицким, была своей девочкой в его семье. Близость с мамой Севы — Лидией Густавовной Багрицкой-Суок — распространилась и на ее сестер — Ольгу Густавовну Олешу-Суок и Серафиму Густавовну, мужем которой был Владимир Иванович Нарбут, погибший в 37-м году, потом Николай Иванович Харджиев, потом Виктор Борисович Шкловский. С подросткового возраста я знала многих, кто бывал в их домах. И мои тесные отношения с тремя сестрами Суок продолжались до конца их жизни. Жил Сева в доме № 2 по проезду Художественного театра, где тогда жили почти все советские писатели, а их дети учились в нашей школе. Был еще двор, главный воспитатель детей тех лет, и место, где завязывались дружбы «на всю оставшуюся жизнь». А у Севы и у меня была и общая судьба подростков — сирот 37-го года. Впрочем, это была судьба большинства ребят и Севиного, и моего дома. Потом пришла первая любовь, трагически оборванная войной.

В Ленинграде, куда после ареста родителей я приехала к бабушке, на той же Исаакиевской площади, где была моя школа, находился Дом Литературного Воспитания Школьников. Он был основан Самуилом Маршаком и располагался в здании ранее существовавшего Института Истории Искусств. В ДЛВШ нам читали лекции всерьез, и были творческие занятия, которые вел молодой поэт Павел Шубин. Потом наших воспитательниц и преподавателей кого арестовали, кого разогнали. Маршак переехал в Москву. ДЛВШ перевели во Дворец пионеров, сделав обычным и скучным литкружком. И Шубин увел нас всех в секцию молодых поэтов ленинградского Дома писателей.

Там я впервые в сороковом году встретилась с Дудиным. На секции читали и разбирали стихи, отчаянно спорили. Когда секция заканчивалась, выходили гурьбой, потом расходились. Однажды Дудин в солдатской форме, коротко стриженный, высокий, худой, с голубыми глазами, сказал: «А можно, провожу?». Шел снег, пушисто лежал на парапете. А на

набережной Фонтанки решетки ограды, черные с белым снежным обрамлением, были какими-то нереальными. Миша сказал, что, проводив меня, пойдет на вокзал, а утром на поезде возвращается в свою часть. И я бездумно сказала: «Переночуй у нас». Он поспал несколько часов на маленькой кушетке. Ушел рано, очень тихо. Мне казалось, бабушка и не слышала. Но утром она мне жестким голосом тихо сказала: «Ты понимаешь, до чего дошла? Как деревенская девка, которая в город устроилась в няньки, солдат в дом водишь!». Я смертельно обиделась. За него. За себя. За всех солдат в мире. И ничего не могла ей объяснить. Ведь ничего не было. И быть не могло. Я почти каждый день влюблялась. На день. На два. На неделю. Вспомнить не могу все свои влюбленности. Но даже не целовалась. Я была как кораблик, у которого есть порт приписки. Свободно плавала. Но порт был один, пока его — Севку не убило шальным осколком. Миша еще несколько раз провожал меня. До весны. И как-то всегда было снежно и бело. Ночевать его я больше не звала. А потом он перестал приезжать на секцию.

Потом война. В 42-м я дважды получила от него письма. Оказалось, он приходил к бабушке и даже принес ей несколько картофелин и узнал мой адрес. А потом пришел — и никого нет. Мой санпоезд вновь попал в Ленинград в начале 43-го. И я пошла в редакцию газеты «На страже Родины». И приходила каждый раз, когда приезжала в Ленинград. И опять он провожал. И были стихи, которые я уже не помню, а ведь не так давно помнила, читала Андрею.

В августе 45-го я демобилизовалась. И тут с ходу, с первого взгляда начался роман. Бурный, с сумасшедшинкой. В сентябре купались в ледяной Неве, и нас забрали в милицию. Вылезали на Исаакий на высоте основания купола на ничем не огражденную покатую плоскость. Солнечные ванны над бездной! У меня через 60 лет схватывает сердце от одного воспоминания. Приходил с цветами — не с букетами, а купив их в товарном количестве у уличных торговок вместе с ведрами. Сразил меня своей красотой, когда я увидела его впервые не в форме, а в нестерпимо элегантном темном костюме. И все бы хорошо. Но Миша пил. Однажды пришел милиционер и сказал: «Гражданин Дудин просил „забрать его из отделения и сохранить вместе с деньгами“.» Оказалось, получил гонорар за книжку «Переправа». Иногда он куда-то пропадал, и Сергей Орлов, главный друг тех лет, искал его по всему городу.

В феврале 1946 года из лагеря вернулась мама. С помощью Миши и еще кого-то ее устроили работать кастеляншей в пионерлагерь Союза писателей в Луге. Там уже работала (тоже с

помощью литературных своих друзей) лагерная мамина подружка Груня (Генриета Давыдовна Домбровская). До лета у них фактически работа была только во время зимних и весенних школьных каникул, и они подолгу жили в городе — Груня у своих, мама у меня. А мама пьяных на дух не переносила. Это было первоначальной причиной ее разрыва с моим отцом. В каждое появление пьяного Миши она замолкала, но это молчание было хуже любого крика.

А потом роман кончился так же внезапно, как начался. Конкретной причины вроде не было. Про себя я знаю, что я, как многие после войны (и почти все послелагерники), пережила период отношений, которые неизвестно почему начинались и неизвестно отчего кончались. Вылечилась я от этой болезни с рождением Тани.

На всем протяжении романа я не знала, что Миша женат. Видимо, меня это просто не интересовало, а его не беспокоило. Узнала спустя несколько месяцев, когда наши отношения перешли в другую сферу, стали очень дружескими, вроде как родственными.

Миша очень тепло относился к моим детям, и они, особенно Таня, платили ему тем же. Трещина в отношениях возникла вокруг Бродского. Потом была такая грустно-смешная, в чем-то типичная для нашей страны история. Зимой или в начале весны 1966 года Миша пришел к нам на Чкалова. С бутылкой вина. Шел в эти дни то ли съезд, то ли какая-то конференция, и Миша сказал, что назавтра должен (видимо, так было по программе) выступать с осуждением Синявского и Даниэля. Мне показалось (а может, хотелось, чтобы так было?), что ему это заранее неприятно, и потому он и пришел. Я оставила его со своим сыном Алешкой, который все уговаривал его: «Дядя Миша, попей молока, не пей вино» (мама была у себя в комнате, а Тани дома не было). И побежала за мост в магазин «Вино». Это близко, 10 минут туда и обратно. И выставила рядом с уже кончавшейся его бутылкой новую, еще две других предусмотрительно оставив в передней. Лешка вызвал меня в коридор и чуть не плача стал шептать: «Мама, что ты делаешь? Что ты делаешь? Ему же нельзя». А я шептала: «Ничего, он скоро уснет». И правда, скоро он спал, скрючившись на узеньком кухонном диванчике. Потом снова пил. И снова спал. Утром позвонила из Ленинграда Ирина. «Где Миша?» — «Спит на кухне». — «Разбуди, я скажу, чтобы за ним пришла машина, ему надо выступать». — «Знаю, только он не в том качестве, так пусть лучше поспит, а „наверх“ можно сказать, что заболел, им к такому не привыкать». Вечером его, помятого, с виноватой полуулыбкой, я проводила на «Стрелу». На его

официальном статусе эта внезапная болезнь никак не сказалась.

И вот, с непрекращающейся внутренней дрожью после вчерашнего приговора и сегодняшнего тюремного свидания, иду в больницу. В Свердловку — больницу для ленинградского начальства, по словам Иры, чуть ли не к умирающему. Скандал разразился уже в коридоре прямо у дверей палаты. На меня налетела молодая докторша и стала кричать, что она была на суде, что я защищаю убийц, и меня надо судить вместе с ними. И все время повторяла: «Кто вас сюда пустил? Кто?». Я вроде спокойно ответила, что пришла к Михаилу Александровичу Дудину. Точно помню, что поименовала его полностью, и вошла в палату. Она влетела за мной и еще сколько-то продолжала кричать. Не помню, как она ушла. Но тут то же самое начал говорить Миша, не дав мне сказать даже каких-то положенных слов вроде «здравствуй» или что-нибудь про здоровье. И вдруг я сорвалась и тоже начала кричать, что ему, видимо, очень нравится смертная казнь. Что он, наверно, всегда был антисемитом (на самом деле нет, никогда даже оттенка не замечала). И он тоже начал кричать, что я что-то предала — то ли родину, то ли тех, кто погиб. А я внезапно разглядела, какой он бледный и худющий, а остановиться не могу. И я только сказала ни с того ни с сего «До свидания» и вышла. Какое-то мгновение постояла за дверью. Потом открыла ее и, не входя, сказала: «Минька, поправляйся». И пошла от двери, хотя вслед услышала «Лена», но не вернулась, побоялась, что снова буду кричать. Больше я с Дудиным не встречалась. Видела по ТВ (и Андрей всегда отмечал в Дневнике любое появление его — потому и пишу здесь подробно), в 1982-м в Горьком читали с Андреем предисловие к книге «40 дней Мусадага», в 1988-м стихи о Карабахе, и каждый раз я упрекала себя за ту истерику в больнице.

На следующий день 26 декабря 1970 года я вернулась в Москву. В этот же вечер Валерий попросил меня поехать к Сахарову и рассказать ему все о суде. Надо сказать, что до процесса Пименова и Вайля Сахаров о «самолетчиках», кажется, вообще ничего не знал. Валерий и я считали, что дело с попыткой захвата самолета не совсем правозащитное. И «правозащитного академика» вовлекать в него не надо. Рассказала Сахарову об этом деле Наташа Гессе, ужиная вместе с ним в гостинице в Калуге во время суда над Пименовым и Вайлем. И у меня сложилось впечатление, что вначале (до приговора с двумя смертными казнями) Сахаров особого интереса к этому делу не проявлял.

Мне кажется, что дальше по дням у Сахарова в

«Воспоминаниях» много напутано.

Я помню, как я читала ему последние слова заключенных — не по бумаге, а наизусть. И сама чуть не плакала, и Сахаров был потрясен. Особенно Сильвой Залмансон. Он сразу стал писать черновик телеграммы (кому — не помню). И мы решили сразу ее посылать — не утром, а немедленно. И вместе поехали на центральный телеграф.

Когда проезжали мимо гостиницы «Центральная» (бывший «Люкс»)[5], меня потянуло на откровенность. Я показала наши окна, балкон и эркер мамы-папиной комнаты, и за 2—3 минуты езды, оставшейся до телеграфа, рассказала, кажется, о всех главных этапах моей прошлой жизни. На телеграфе в абсолютно пустом и потому непривычно гулком и торжественном зале он и написал эту телеграмму, но я не помню, оставил ли копию. Когда он отдавал ее в окошко, я стояла рядом. И мы вышли из здания. На ступенях телеграфа произошел памятный для меня разговор. Сахаров спросил: «Люся, а сколько вам лет?» — «Сорок семь». — «А я думал, меньше». — «А теперь будете думать, что больше?» Он не ответил. Вот в этот вечер, верней в ночь, мы и познакомились. Поймали такси. Сахаров довез меня до дома и поехал к себе.

На следующий день я опять была у Сахарова, как всегда вечером, где-то около 9 часов, а то и позже (днем я на работе, потом какие-то дела домашние). Сочинялась еще одна телеграмма о помиловании (кому, не помню), и пока сочинилась, опять уже ночь. Я сказала, что сама ее отправлю по пути домой. Дежурная телеграфистка отказалась принять телеграмму не за моей подписью и вызвала старшую по смене. Та подошла к окошку и поздоровалась со мной — это была та, что принимала прошлую телеграмму. Она сказала дежурной — «Примите, это его жена». Я промолчала.

А 30—31 декабря 1970 года на кассационном заседании Верховного суда РСФСР мы с Сахаровым были уже как бы подельники — такое было у обоих тождественное сопереживание и нервное напряжение в ожидании решения. Были мы там вчетвером — мама Юры Федорова, сестра Менделевича Ева, Сахаров и я. Кассация была назначена столь поспешно (всего за шесть дней), что большинство родственников осужденных не успели приехать.

Но и в Верховном суде (как после отказа от кефира и молока в Калуге) был один момент, когда я испытала если не антипатию к Сахарову, то некий намек на нее. В перерывах заседаний мы ходили в тамошний буфет. Там были сосиски, бутерброды и чай. И я платила за всех. Ну Ева Менделевич — понятно, она эти дни

жила у меня и была моя гостья. Мама Юры Полина Степановна хотела заплатить, но я ей сказала что-то вроде «Да ладно». Но Сахаров даже не встрепенулся. И я подумала: «Ну что за мужик такой странный».

Кассационный суд заменил Кузнецову и Дымшицу высшую меру на 15 лет заключения. В тот момент это показалось великим благом. На выходе из суда стояла взволнованно ожидающая решения толпа людей, и Сахаров стал рассказывать о том, что было в суде. Потом мы с Сахаровым и с Валерием Чалидзе, который тоже был среди ожидавших, пошли к метро. Я сказала, что пойду на телеграф и дам телеграмму Кузнецову. Валерий заметил, что это бессмысленно. Пока приговор не придет в ленинградскую тюрьму, администрация заключенному ни писем, ни телеграмм не передаст. Но я все-таки пошла на Кировский почтамт и послала телеграмму. Валерий был прав — телеграмму не передали. Но я, послав ее, оказалась еще больше права. Начальник тюрьмы пришел в камеру к Кузнецову и пересказал мой текст. А написала я — «поздравляю Новым годом и жизнью». Было 31 декабря 1970 года.

Год 1971

Первые недели января я Сахарова не видела, но числа 12-го Шиханович принес билеты на фильм Тарковского «Андрей Рублев» и дал мне сколько-то продавать. Я не помню, кому из нас (ему или мне) пришла идея позвать на это не совсем законное мероприятие[6] Сахарова. В эти же дни Тельников принес пачку Хроник[7] и сказал, что теперь решено их продавать (кажется, по рублю пятьдесят), чтобы окупить расходы на бумагу и машинисток. И я поехала с билетами и с Хроникой к Сахарову. Позже Чалидзе мне попенял, что я вовлекаю Сахарова в противозаконные акции.

Сахаров заинтересовался Хроникой и остался почти равнодушен к билетам. Но купил два. Я еще удивилась, что так мало. У меня вокруг друзья покупали щедрей, а некоторые ленинградцы специально приезжали на «Рублева». В зале я Сахарова не видела. Рядом с ним сидела моя мама. А мы все были где-то далеко от них.

Потом я стала иногда бывать на заседаниях Комитета прав человека, думаю, что это произошло вскоре после дня рождения Валерия или уже в начале 1971 года. Заседания происходили раз в неделю, мне кажется (но не уверена), по вторникам (четвергам?). Я вскоре стала называть их ВЧК (Вольпин, чай, кекс). Сахарову мой ВЧК понравился. Вольпин рассуждал. Чай (превосходный!) готовил Валерий. Я приносила кекс или ватрушку (Никита Кривошеин называл мою ватрушку диссидентской). Из всех участников этого мероприятия Сахаров был самый малоговорящий и самый слушающий. Я не запомнила ни одного спора (а они были), в котором он участвовал.

Уходили часто втроем: Сахаров, Твердохлебов и я. На углу Арбата и Садового кольца у гастронома сажали академика в такси, а сами (нам обоим надо было на улицу Чкалова) садились в троллейбус. «Полночный троллейбус спешит по Москве, Москва как река затихает». А когда за поздним часом приходилось брать такси, считали, до какого места доехать по Садовому кольцу нам хватит денег. Однажды Андрей Твердохлебов спросил Сахарова: «Андрей Дмитриевич, у вас когда получка?» — «Не знаю, мне на книжку переводят», — ответил Сахаров.

15 февраля мой день рождения, много людей. Впервые был Валерий Чалидзе с Верочкой, Андрей Твердохлебов. От Комитета не хватало только Сахарова. Я думала пригласить, но удержало опасение, что его присутствие как-то изменит непринужденность атмосферы. Однако когда я пришла к нему в начале марта, то по

какой-то его фразе поняла, что это его огорчило.

Пришла я, получив из Ленинграда записку, что Витя Файнберг и Володя Борисов[8], находящиеся в психбольнице, собираются объявить бессрочную голодовку в связи с признанием их невменяемыми и просят сообщить это Сахарову. До того как пойти к Сахарову с этим делом, я съездила в Ленинград и встретилась с женой Борисова Джеммой Квачевской. Я знала ее давно, принимала участие в хлопотах по восстановлению ее в мединститут. Она была отчислена, потому что отказалась давать показания против своего брата Льва на прошедшем за несколько лет до этого суде. Я втянула в эти хлопоты Евгения Евтушенко, и он реально пытался тогда помочь.

Встретилась я впервые и с родителями Виктора Файнберга. После этой поездки пошла к Сахарову. И была у него несколько раз. Именно в эти мартовские дни мы вышли за рамки каких-то дел, и я почувствовала его личную мужскую заинтересованность. Встречи затягивались. Андрей Дмитриевич стал как-то непривычно разговорчив и все не по делу (пересказать невозможно) — о детстве, университете и даже об «объекте». Тогда я рассказала о том, какое трагически чарующее впечатление, протянувшееся на всю жизнь, произвел на меня роман Декстера Мастерса «Несчастный случай». И я сказала: «Я и красную юбку сшила, такую, как была у героини этого романа». А была я как раз в этой юбке. И Андрей Дмитриевич сказал, что ему нравится красная юбка.

И однажды он стал показывать альбом фотографий (не семейный — семейного у него никогда не видела), сделанный секретарем Курчатова. На одной из фотографий стоят Курчатов и Сахаров. Он мне на ней не понравился, и я сказала что-то не очень приятное, что на фотографии он какой-то первый ученик, самоуверенный или самовлюбленный и заносчивый. На эти слова он ответил с необычной для него горячностью (дословно!): «Люся, у меня эти валентности давно закрыты. И это очень серьезно!». Я спросила, чтобы как-то убрать эту серьезность: «Вы что, ко мне подлизываетесь?». Ответил: «Да».

Я ехала домой и думала, похоже, действительно все становится серьезно. А мне это надо? Я сознавала уже, что легкого (тем паче проходного) романа тут не получится. И помнила, какая это тяжкая засасывающая трясина — выяснение отношений, когда отношения рушатся. У нас с Иваном[9] не очень было и понятно, кто кого оставил. Он не прижился в Москве. Я не хотела возвращаться в Ленинград. Начали жить врозь, и оба стали не без греха, потом то он, то я писали слезно-рефлектирующие письма, но тех слов, что в них были, хватало едва на сутки. И

вдруг (все всегда вдруг) — я стояла у окна и пол-Москвы передо мной. Помню все до оттенка весеннего предсумеречного неба. И воздух вдруг приобрел какой-то давний, много лет не улавливаемый аромат. А меня всю охватило и как понесло чувство свободы. Как в ранней юности — все в розовом луче заката. Неудержимо захотелось на весь мир кричать — свободна, свободна, свободна! И я себе сказала — никогда больше. Всегда буду сама по себе. И было это ни с чем и ни с кем не связано. Пришло и все. По странному совпадению — Пражской весной 68-го. Сахарова я еще не только не видела, но и не слышала о нем.

После разговора о валентностях я не видела Сахарова недели две. Я опять ездила в Ленинград, на этот раз с Алешей. На каникулы он остался у отца. А я вернулась, сделав передачу Эдику и еще раз повидав родителей Файнберга и Джемму. 29 марта я пришла с работы в восьмом часу. Прошла на кухню с двумя полными авоськами какой-то провизии. Мама сидела на своем обычном месте, грея спину у батареи. Но что-то было в ее лице, что я сразу спросила: «Что случилось?» — «Звонила Ира Кристи. У Чалидзе обыск». Я отобрала из двух авосек в одну хлеб, колбасу и еще что-то и поехала туда. На лестничной площадке стояли Сахаров, Ира Кристи, Ира Белгородская и Ефимов. Потом мимо нас несколько человек протащили мешки с бумагами, и мы вошли к Валерию. Там был и Андрей Твердохлебов. Был долгий разговор об обыске и возможных последствиях. Вернулась домой в четвертом часу ночи, прокатившись на такси дважды через пол-Москвы. Вначале мы с Ирой Кристи отвезли академика на Щукинский, потом я завезла Иру где-то в том же конце города, но подальше, и потом тем же путем назад — домой за Курский. Кто знает город — представляет расстояния.

Мама сидела на том же месте с вязанием. Спросила: «Арестовали?» — «Нет». — «Значит, это впереди, а пока можно ложиться». Утром она сказала, что ночью ждала, что придут с обыском. А на мое возражение, что теперь ночью не ходят, сказала, что никто не знает, когда снова начнут ходить. Такой вот синдром матери и бабушки, отсидевшей своё и безумно боящейся за меня и еще больше за внуков. А утром стало известно, что арест в тот день все же был — арестовали Володю Буковского.

В начале апреля приехала Джемма. Жила у нас. Я позвонила Сахарову, спросила, когда можно ей приехать. Он сказал: «Люся, привезите ее». И я привезла, нарушив свой личный мораторий.

21 мая мы — Валерий Чалидзе с Верочкой, Андрей Твердохлебов и я — были приглашены на день рождения Сахарова. Вместе с веткой розового миндаля я подарила ему два самиздатских томика — Окуджаву и Мандельштама. Гостей было

немного. Кроме детей именинника, были муж старшей его дочери Тани и ее свекровь, Турчины и два брата Медведевы. Я ощущала какую-то общую скованность и, может, это было ошибочное впечатление, некую напряженность между дочерьми Сахарова Любой и Таней. Таню я тогда видела впервые. Не было ощущения праздника, и даже стол показался мне скудным. И меня ошарашила одна реплика Тани о том, что она хочет переменить фамилию маленькой Марины, которая тут же бегала, с отцовской на свою. Так и сказала — чтобы она была не Либерман, а Сахарова. И я видела, как изменилось лицо Сахарова при этих словах.

При следующей встрече Сахаров спросил, понравились ли мне братья Медведевы, и огорчился от моего ответа, что не очень. Но про себя подумала: «Хорошо, что больше ни о ком не спрашивает». Но он спросил, кто понравился. Ответила, что Марина — у этой малышки тогда был удивительно обаятельный тембр голоса.

Лето добавило в наши отношения что-то неуловимо новое. Я уезжала в Киев. Он попросил позвонить. Я звонила. И даже дважды. Прислала две красивые открытки. Потом была маленькая книжная эпопея. Я читала в те дни только что вышедшую книгу Трумена Капоте и сказала про нее что-то восторженное. Он попросил почитать и заодно попросил дать Ахматову, сказав, что я уже несколько раз ее цитировала, и теперь ему надо самому прочесть. Я дала обе книги.

В это время он с детьми собирался ехать на Кавказ, и была проблема с собакой. Я тогда несколько удивилась, почему собаке нельзя побыть на его даче, где живет Таня с семьей и с няней, но промолчала. И в ответ на вопрос, не знаю ли я кого-либо, кому можно на две-три недели подкинуть собаку, предложила подкинуть ее на эти дни в Переделкино. Я снимала там дачу, где жили мама с Алешей и Ольга Густавовна Олеша. И на том же участке снимали дачу наши друзья Игнатий Игнатьевич Ивич с женой Анной Марковной и их внук. Я сказала, что два мальчика — мой Алеша и Костя Богатырев (сын поэта и переводчика, бывшего политзэка, Константина Богатырева) вполне справятся с одной собакой. Сахаров и Люба привезли ее.

Забирать собаку приехал Сахаров один. Вернул Ахматову, а про книгу Капоте смущенно сказал, что в доме не нашел (так и не нашлась по сей день). Опять были «случайные» смотрины, а он был неожиданно свободным и раскованно-веселым, каким в его доме я его не видела. Был как обычно — общий вечерний чай в саду и общий разговор, как всегда при Игнатии Игнатьевиче и трех дамах его поколения (Анне Марковне, Ольге Густавовне и

моей маме), легкий и глубокий одновременно.

Когда провожала Сахарова к станции, он говорил, что наше общее с Ивичами садовое-самоварное чаепитие напомнило ему дачное время его детства. А потом с огорчением сказал, что давал Ахматову читать Любе, но ей она не понравилась. На это я ему заметила, что ей не Ахматова не понравилась, а я не нравлюсь. После моих слов разговор оборвался.

В августе мы с Юрой Шихановичем ездили навестить Вайлей в Уват, большое село на севере Тюменской области, где Борис Вайль отбывал ссылку. Поездка была очень хорошей. Вайли прекрасные и душевно очень нам близкие люди, их Димка удивительно милый и чуткий мальчик. И потрясающей мощи и красоты Иртыш. А ездить с Юрой одно удовольствие, такой он внимательный и заботливый спутник. На обратном пути еще смогли посмотреть Тобольск, побродить по декабристским местам. Потом мы чуть не застряли в Тюмени — не было в обозримом будущем ни одного билета на самолет. И неожиданно в вестибюле местной гостиницы наткнулись на большую группу московских писателей (там была какая-то неделя советской литературы). И среди них были Марк Соболь и еще кто-то из моих приятелей. И мы стали как бы частью этой делегации и улетели в Москву вместе с ними их рейсом.

Сахаров вернулся с Кавказа с флюсом. Когда я пришла, сразу похвастался, что только что получил от Бори Вайля подарок. Я попросила показать. Это оказалась фотография: Вайли и мы с Шихом в Увате. И я сказала, что раз у него есть моя фотография, то для симметрии и мне надо бы его. Он показал мне три (позже я узнала, что их сделал в 1970 году Юрий Рост). Я выбрала одну. В этот же вечер я ехала в Ленинград опять по какому-то психиатрическому делу. Помню, что советовалась с Юрием Лурье, который защищал Кузнецова, об адвокате для кого-то, помещенного в психушку в Риге. И встречались мы с ним не в юридической консультации, а почему-то в сквере недалеко от площади Льва Толстого. Конспирация, что ли? Теперь уже и сама не знаю.

Утром я у Веры Гессе пила кофе и показала ей фотографию, полученную от Сахарова накануне, но не сказала, кто это. Она долго ее разглядывала, явно подозревая дела сердечные, а потом спросила: «Девка, а он случайно не алкаш?» Кажется, есть такая наука — по лицу определяют суть человека (забыла, как называется).

После поездки к Вайлям и в Ленинград я и Алеша собрались на Кавказ как всегда дикарями. Сахаров очень хвалил то место на побережье, откуда он с детьми только что вернулся, — небольшой

поселок Арсаул недалеко от Сухуми. И мы решили ехать туда же. Улетели мы 12 августа. Следующей ночью было Великое противостояние Марса, и мы с Алешей (у него была подзорная труба под названием «Юный астроном») смотрели на эту планету. Была какая-то напряженно тревожная картина. Шумящее почти черное Черное море у наших ног, темное, тоже почти черное небо над головой и непривычно большая густо-оранжевая звезда на нем.

Перед отъездом Сахаров дал нам адрес хозяйки, у которой он жил с Любой и Димой. Это был первый дом, где мы смотрели комнату. Когда я стала объяснять этой женщине, кто дал нам ее адрес, она сказала: «Да помню. Тихий такой старичок». Комнату мы сняли в другом доме. Но эту фразу привезли в Москву. Потом она вошла в семейный лексикон, и ее все в нашем доме повторяли при каждом общесоюзном или общемировом шуме вокруг Сахарова. Как же: «Тихий такой старичок!».

На последнюю неделю каникул Алеша и Таня (и, кажется, Ефрем с ними) ехали к отцу в Ленинград. Я не помню, как получилось, что в Ленинград ехали и Люба с Димой навестить бабушку. Я уже знала из рассказов Сахарова, что у Клавдии Алексеевны последнее десятилетие жизни не было отношений с мамой и сестрой. И, кажется, это была первая поездка детей Андрея в Ленинград и, может быть, первая за много лет их встреча с бабушкой с материнской стороны.

Пока мы с Сахаровым шли от вагона, в котором уехали ребята, я думала, что поеду к нему. Но когда сели в такси, я сразу сказала водителю: «На улицу Чкалова за Курский». А выходя из машины, уже жалела, что не позвала его к себе. На следующий день я была у него вроде бы по делам, пришла поздно (у меня было самое загруженное время на работе, я кончала составление расписания на новый семестр), принесла какие-то бумаги от Валерия и вскоре собралась уходить. В дверях — он внутри, а я уже снаружи — он протянул руку, в ней была большая металлическая скрепка, я взялась за нее. И как какой-то ток прошел между нами. Через скрепку. Руками мы не соприкасались. Он сказал: «Люся, останьтесь». Это были первые определенные слова, которые я от него услышала. Я отрицательно качнула головой и пошла вниз. С улицы посмотрела наверх. Он стоял на балконе. И я крикнула: «Я завтра приду». Никаких дел завтра у меня к нему не было.

Я пришла с работы около 9 часов. Принесла кофе (у него в доме кофе не держали), сыр и пачку печенья «Юбилейное». Спросила, можно ли сварить кофе, и мы прошли на кухню. Там были какая-то женщина и девочка лет восьми. Сахаров нас не

познакомил. Я сварила кофе. Спросила у него и у нее, налить ли им. Она отказалась и вышла. Сахаров сказал, что это сестра его покойной жены Клавы, которая приехала впервые за много лет.

Я налила две чашки. Мы прошли в его комнату, которую за месяцы, что прошли с декабря, я уже знала до последнего гвоздя в стене. Пили кофе, грызли печенье, и то, что он мне говорил в эти часы (он мне все еще — Андрей Дмитриевич, я ему — Люся — вы), было потом пересказано в грязно-отвратительной тональности в итальянской газетенке «Сетте Джорно» со ссылкой на меня, что я якобы это рассказывала про него своим подругам. Прослушивание в его квартире было налажено хорошо.

Неожиданно (на самом деле давно ожиданно — пролог как-то несовременно затянулся и, наверно, длился бы и дальше, если б дети не уехали) он спросил, можно ли постелить постель. Я кивнула, спросила, можно ли позвонить. И сказала два слова: «Мама, я не приду». Он принес откуда-то запечатанный комплект постельного белья (тогда такие продавали, то ли индийские, то ли египетские) и стал его распечатывать. И я спросила: «Вы, нет, ты когда его купил?» — «Вчера. Я хотел утром постелить, но боялся сглазить, думал — постелю, а ты вдруг не придешь».

За окном уже светало, когда я услышала, как бьется его сердце, и спросила: «Давно это у тебя?». Он спросил: «Что — это?» — «Ну, экстросистолия». Оказалось, что он про нее не знал. И я провела полный медицинский анамнез. Он ответил на все мои вопросы, но сказал, что получается не брачная ночь, а прием у врача. «Конечно, я же тебе еще вечером сказала, что замуж не собираюсь. Так что — ночь эта грешная». И это была единственная ночь, которую я провела в его доме. Но с той ночи рядом с моей установкой всегда быть самой по себе появилось некое расплывчатое сомнение, а не обречены ли мы быть вместе? И рядом другая (заслоняющая это сомнение) мысль, что экстросистолия у него врожденная. И именно поэтому его в 41-м на первом же медосмотре отстранили от призыва в армию, не взяли в Академию, и он поехал с университетом в эвакуацию доучиваться, а потом на завод в Ульяновск. В общем, полное смешение ощущений счастливой любовницы и профессионала-врача.

Утром (на самом деле сильно после полудня) мы ушли из его дома. Пришли в мое училище, купив в гастрономе напротив булку и творожные сырки. Ему снова пришлось пить кофе — чая я у себя на работе не держала. И я наконец задала вопрос, который меня мучил с октября предыдущего года: почему он так резко отказался взять молоко или кефир, когда я ему предложила их в коридоре калужского суда? «Так они же холодные», — сказал

Андрей.

Потом он несколько часов маялся на диване в моем кабинете и на лавочке на Яузском бульваре. И мы пришли к нам на Чкалова. Андрей — впервые. Он пишет об этом и в «Воспоминаниях», и в тексте Дневника, и там же в стихотворении «Альбинони». Мама в этот день плохо себя чувствовала. Лежала у себя в комнате. Я провела Андрея к ней и ушла на кухню. Потом Андрей пришел ко мне и сказал, что у него странное ощущение, как будто он здесь уже был, ощущение дома, потому что у мамы над кроватью висит портрет Бетховена — такой же, как был в комнате его бабушки. А мама позвала меня, сказала: «Дай коробку с нитками и сними с него кофту, я ее заштопаю, пока вы обедаете».

Спустя несколько дней вернулись из Ленинграда дети. Таня приняла Андрея сразу не только без внутреннего сопротивления, но и как-то очень тепло. Алеша был первое время напряженный и непривычно сдержанный, я бы сказала, чрезмерно корректный и отстраненный. А у Андрея все складывалось очень тяжко. Я не принимала участия в его объяснениях с детьми. В один из вечеров Андрей позвонил и попросил, чтобы я приехала. Было долгое и как хождение по кругу объяснение с Любой. Содержания разговора изложить не могу (не могла и тогда), но утвердилась в мнении, что мне принимать участие в таких разговорах не надо. Как ни трудно ему, но это он должен решать сам. И все происходившее в доме Андрея тщательно отслеживалось КГБ и отражалось в соответствующих документах.

> «2 октября 1971 г. Тов. Суслову от Пред. КГБ Андропова. Направляется справка о поведении академика Сахарова А.Д. В личной жизни Сахарова в последнее время произошли изменения. Он вступил в интимную связь с преподавательницей 2-го Медицинского училища Боннэр Л.Г., 1922 года рождения, членом КПСС, родители которой в прошлом были репрессированы, а впоследствии реабилитированы. Боннэр поддерживает негативные проявления и деятельность Сахарова в качестве члена „Комитета“, размножает изготовленные его единомышленниками материалы. Намерение Сахарова вступить в брак с Боннэр встретило резко отрицательное отношение со стороны его дочерей, в результате чего в семье возникла напряженная обстановка».

А у нас в первые недели сложился какой-то странный уклад.

Андрей приезжал на Чкалова поздним вечером. Когда мы на кухне оставались одни, сбивчиво, повторяясь, рассказывал о трудных объяснениях с Таней и Любой. Был потрясен вопросом Димы: «А чей теперь будет кошелек?» — и его репликой, что он по мне пройдется коготками. А потом оставался на ночь. Я расширила тахту в кухне книгами. Сверху положила матрас. Это было наше ложе. Андрей где-то неверно написал, что на кухне спали Таня и Ефрем. Наш сосед академик Займовский, с семьей которого мы дружили в двух поколениях (я с ним и с его женой, моя Таня с их дочерью — тоже Таней), поглядев на наше кухонное ложе, назвал Андрея «кухонный академик». Теперь в бывшей квартире Займовских расположен Архив Сахарова.

В 6 утра я в халате провожала Андрея. Над Яузой стоял легкий туман. Вдали в первых лучах солнца розовел Андроньевский монастырь. Прощались на мосту, где он обычно ловил такси, и (странно) эти ежедневные расставания на рассвете не создавали ощущения временности.

Но однажды он пришел и сказал, что утром не уйдет, что Люба его вроде как прогнала, сказала, что сама будет Диме мамой и папой. Я же считала, что Дима должен жить с нами и что, как только будет готова моя кооперативная квартира (она строилась уже два года, ее обещали к ноябрьским праздникам, и уже прошла жеребьевка), Андрей должен на это решиться. Забегая вперед, скажу — не решился, боялся обидеть Любу.

А пока у меня возникла проблема создать быт, более устойчивый, чем кухонное ложе. Таня и Ефрем в ожидании моего кооператива переехали в Петрово-Дальнее к маме Ефрема, мы с Андреем в комнату, где раньше жили я с Алешей, Алеша к маме. Андрею перешел в наследство от Тани ее письменный стол. Понадобилась еще одна настольная лампа. И мы поехали делать первую в нашей совместной жизни покупку.

В магазине «Тысяча мелочей» были четыре типа ламп, разнящихся и по качеству и по цене. Разброс был от 6 рублей до 22. Я хотела купить за 18. Андрей настаивал на шестирублевой. Я говорила, что она, во-первых, уродка, а во-вторых, неудобная. Андрей на это ответил, что зато дешевая. Я довольно сдержанно предложила выйти на улицу и там поговорить на тему о том, что я могу себе позволить купить на свои трудовые, и о том, что мне будет не по карману. Вышли. Там был тротуар и рядом вскопанный газон, огороженный на уровне колен тонкой проволокой. И я зло сказала, что если еще когда-нибудь он сунется с такими аргументами при любой покупке, то вот Бог и вот порог. А я сама себе хозяйка. И пусть с самого начала катится куда подальше, чем когда-нибудь потом выяснять отношения из-

за подобных мелочей. Говорила с такой, мягко говоря, экспрессией, что он отшатнулся и, зацепив ногой за проволоку, упал. Это падение спасло нашу будущую семейную жизнь. Невозможно продолжать ссору, когда человек упал и сильно расшиб ногу. Больше настоящих семейных ссор у нас не было. А что мы до хрипоты спорили над каким-нибудь документом, или я на него ополчалась из-за излишней доверчивости и внешней врожденной мягкости, часто создававших у окружающих неверное впечатление о его взглядах, так это ссорами мы оба не считали, да и по существу это не были ссоры.

Все эти события, внутренне очень насыщенные, произошли за какие-то полторы—две недели. В доме привыкли, что все надо греть, что он любит делать это сам. Танин первоначальный испуг, когда Андрей, подцепив вилкой кусок селедки, опустил его погреть в стакан чая, и она в ужасе закричала: «Андрей Дмитриевич, что вы делаете?», вспоминался со смехом. Андрей привез со Щукинского чемодан, в котором была рукопись учебника, пара рубашек и несколько книг по физике. На этом его переезд завершился. За вечерним чаем в связи с таким событием Таня сказала: «Андрей Дмитриевич, теперь нам надо знать, кто ваши друзья». Ее поддержал Ефрем, добавив, что комитетчиков мы знаем, а кто другие? И Андрей замялся, а потом очень неуверенно сказал: Зельдович.

А я решила, что его пора уже представить моим ленинградским друзьям. В Ленинграде на Пушкинской улице жили одной семьей Наталья Викторовна Гессе, Зоя Моисеевна Задунайская и Регина Моисеевна Этингер. С Региной я была дружна с 8-го класса школы. С Натальей подружилась, когда в 1953—1954 годах работала по совместительству редактором в Ленинградском отделении «Медгиза». В том же Доме книги, где был «Медгиз», располагался «Сельхозгиз». Там работала Инка (Регина), и я свела их с Наташей — получилось, на всю оставшуюся Инке жизнь. С Зоечкой «взрослое» знакомство возникло через Наташу в 59-м году, но я знала ее (и, соответственно, она меня), когда я занималась в Доме Литературного Воспитания Школьников, а Зоя Моисеевна была одной из «маршаковен», приглядывавших за нами.

И мы полетели в Ленинград. Обычно я туда моталась на поезде, используя свою 50% скидку инвалида войны (хотя моя скидка инвалида ВОВ на билет была и на самолет). Ночь в поезде казалась меньшей тратой времени, и билет был все же дешевле.

Впервые летели вместе. И в самолете договорились, что никогда не будем летать или ездить поодиночке. И вообще будем жить по принципу — с любимыми не расставайтесь. Однако

пошлая поговорка «Человек предполагает, а жизнь располагает» оказалась сильнее нас. Мы оба не могли тогда представить, сколько разлук нас ждет впереди — кратких и долгих, вынужденных и трагических.

Андрей, еще когда мы были на «вы», много и упорно говорил мне о своей неконтактности, и я опасалась, что у моих пушкинских друзей он поначалу может чувствовать себя скованным. Но все оказалось легко и просто. С Наташей Андрей уже был знаком по суду в Калуге, и ее внешнюю резкость сразу принял как высшее проявление дружбы. С Региной, о которой он знал, что моя дружба с ней началась 1 сентября 1937 года и никогда не прерывалась, сразу возникло полное взаимопонимание. А Зоечку, от которой исходила доброта так же отчетливо, как тепло от солнца, полюбил, что называется, с первого взгляда.

Ленинград конца сентября всегда золотой и прозрачный. На самом деле еще неизвестно, что ему больше к лицу — белые ночи или ранняя осень. Я была поражена, когда узнала, что Андрей был в этом городе только один раз и только один день. И я показывала ему и рассказывала город до изнеможения. И если все долгие беседы нашего «пролога» был в основном его рассказ о нем (позже Андрей говорил, что он раскрыл мне все карты), то Ленинград стал наглядным пособием к моему рассказу обо мне. Потом я повезла его в Павловск.

А после Павловского парка был Пушкин (Пушкин, Детское Село, Царское Село) — город, где кроме всех великих, кто там жил, еще росли и мои дети под опекой бабушки и дедушки с отцовской стороны. Но мы не пошли ни во дворец, ни в лицей. Мы пошли в Гостиный двор (не все знают, что в Пушкине, как и в Санкт-Петербурге, есть настоящий Гостиный двор) покупать все, начиная с исподнего, Андрею Дмитриевичу Сахарову. Потому что с момента, как он ушел из своего дома, он носил майки, трусы, носки и рубашки, которые не забрал Иван. Две из Ивановых рубашек (еще иракских)[10] так полюбил, что доносил до полной ветхости.

В сентябре умер Хрущев. Я как-то не помню газетных сообщений о времени и месте похорон, но западные радиостанции сообщали об этом. И Андрей решил поехать на кладбище. Мне теперь кажется, что это был наш первый совместный выход на люди. У Новодевичьего стояла большая очередь, и, кажется, простых смертных внутрь не допускали. Но Андрей показал свое удостоверение (не помню, Героя или академика), и мы попали внутрь. Прошли к могиле.

Вокруг нее стояло человек сто. Моросил дождь. Из

выступавших я запомнила только сына Хрущева Сергея и какую-то женщину поколения моей мамы. Она очень эмоционально говорила о том, какую большую благодарность к Никите Сергеевичу испытывают люди ее судьбы, прошедшие тюрьму и лагеря, те, кому он вернул свободу, человеческое достоинство и саму жизнь. Там были слова «возродил из небытия».

А вечером того же дня (или накануне) в связи со смертью Хрущева у Алеши (тогда девятиклассника) был разговор с одним из школьных товарищей. Тот считал, что зря Хрущев «всех их освободил». И на недоуменное восклицание Алешки пояснил: «Они же там привыкли». Фраза эта тоже вошла в семейный обиход наряду с «тихим старичком», правда, несколько позже, когда по какому-то новому законодательству лагерные суды стали часто штамповать политзэкам новые сроки за нарушение лагерной дисциплины и просто потому, что «они же там привыкли».

В конце сентября или в начале октября Андрей решил, что наши отношения должны быть оформлены. А мне казалось, что это опасней для моих детей, чем внебрачная связь. И потом я знала (Андрей сказал мне это в первый наш вечер, перешедший в ночь), что Клава взяла с него слово никогда больше не жениться. И он это ей обещал. Мне было странно и ее желание, и обещание Андрея. Но у меня было какое-то внутреннее сопротивление тому, чтобы он нарушил свое слово. И возникли две или три недели некой рефлексии на эту тему. У Андрея главным доводом было — тебя арестуют, а меня не пустят к тебе на свидание. Появились и еще какие-то тоже житейские соображения (в нашей жизни предвидение ареста было вполне житейским).

В конце октября мы снова приехали в Ленинград, надо было оформить мой развод. Меня поразило, как спокойно Андрей воспринял знакомство с Иваном. Не было даже намека на ревность к моему прошлому. В этом он так разительно отличался от Ивана, которого моя мама называла псковским Отелло. Все хлопоты Иван взял на себя, мне не пришлось являться на суд, и вскоре он прислал мне свидетельство о разводе. Можно было идти в ЗАГС подавать заявление, но оказалось, что Андрей не может найти в квартире на Щукинском свидетельство о смерти Клавдии Алексеевны, а заодно и многих других своих бумаг частного характера. Он обратился в ЗАГС и получил дубликат утраченного документа. А облигации, личные письма и какие-то наградные документы так и не нашлись.

Мы подали формальное заявление, и нам выдали приглашение на бракосочетание 7 января 1972 года и пропуска в магазин для новобрачных. В то время это было существенно.

В этом спецмагазине был куплен Андрею черный вполне приличный соц. демократического производства костюм, шотландский свитер, и он фигурирует на многих фотографиях. Себе ничего не покупала, и колец мы не заготовили. Так мы завершили подготовку к нашему официальному бракосочетанию. Но к нему готовились не только мы, но и в КГБ, и в связи с этим меня, можно сказать, повысили в категории[11].

Через несколько дней мы поехали в Киев, где был назначен суд над поэтом Лупиносом. В гостинице нас отказались поселить в одном номере, хотя Андрей показал приглашение из ЗАГСа на 7 января. Дежурная твердо стояла на страже нравственности граждан. За нас ходатайствовал мужчина (явный сотрудник КГБ, сопровождавший нас на аэродроме в Москве и в самолете), но и это не помогло. Ночевали мы в комнатах на разных этажах. Суд отложили на неопределенное время почти сразу после появления Сахарова в зале заседаний. Но мы познакомились в эту поездку с несколькими киевскими диссидентами. А потом, несмотря на серый с мокрым снегом день, когда неба как будто не существует, я таскала Андрея по городу, показывая ему все булгаковские места. В прошлом он один раз был в Киеве, но ничего этого не видел. И еще мы купили там обои для намечавшегося дома ремонта. В Москве в этот год обои были дефицитом.

29 декабря исключали из Союза писателей Галича. Пока на втором этаже бывшего особняка графа Олсуфьева, ныне Дома писателей, шло судоговорение, Сарра Бабенышева и я маялись в вестибюле. Мимо нас, старательно отводя глаза в сторону, шли в ресторан и из него всем известные и никому неизвестные члены Союза. И те, и другие наверняка были знакомы с Саррочкой, а кое-кто и со мной. И я безуспешно пыталась найти ответ на вопрос, откуда им известно, что мы ждем Сашу.

Наконец наше с Саррой ожидание кончилось. Саша спустился с верхов, где обитают высшие члены их писательского союза, на грешную землю, и, полуобняв нас за плечи, почти подтолкнул в сторону выхода. Потом, когда Галич так неожиданно и трагически ушел из жизни, я, вспоминая этот день, думала, что тогда был бы уместен монолог вроде Чацкого. Но монолога не было. Он сказал только: «Пошли, девочки», и навсегда покинул этот Союз советских писателей.

Накануне прилетела из Флоренции на пять дней Нина Харкевич. Вначале она собиралась прилететь на наше официальное бракосочетание. Но я ее уговорила этого не делать. Мне было неуютно оттого, что Андрей решил о нем не говорить своим детям, и поэтому я решила, что и с моей стороны никого, кроме обязательных свидетелей, не будет. И своим детям сказала,

что они в ЗАГС идти не должны. И мы с Ниной 31-го полетели встречать Новый год в Ленинград на Пушкинскую. Знакомство с Ниной для Андрея оказалось значимым, не только потому, что он приобрел верного и деятельного друга. Нина стала первым доверенным лицом Андрея на Западе, а позже и главным распорядителем (вместе с Анне-Марией Бёлль) основанного мной Фонда помощи детям политзаключенных.

Год 1972

1 января мы вернулись в Москву. 2-го Нина улетела домой, а мы втроем (я и Алеша впервые) поехали на дачу Андрея в Жуковку. Алеша ехал очень неохотно, однако Андрей настойчиво его просил об этом, считая, что если Дима и Алеша проведут вместе несколько дней, то это поможет сближению мальчиков. Но ничего не получилось. Дима почти не общался с отцом, а уж о нас и не говорю. И, когда Алеша Тумерман сообщил, что на 5 января назначен суд над Володей Буковским, мы сразу вернулись в Москву. Но в эти дни в Жуковке мы познакомились с Монгайтами[12]. Оказалось, что Монгайт был дружен с отцом Андрея Амальрика. И он многое рассказал нам о его семье, детстве и студенческих годах, так что сам Андрей Амальрик, с которым ни Андрей, ни я тогда знакомы не были, стал по-человечески ближе.

5 января был суд над Буковским. Для Андрея он ознаменовался тем, что его уравняли в правах со всеми нами. Его впервые не пустили в зал заседания, хотя он предпринял попытку добиться разрешения и объяснялся с каким-то то ли судебным, то ли милицейским начальством.

7 января мы в положенное время явились в ЗАГС вместе со своими свидетелями — Наташей Гессе и Андреем Твердохлебовым. Туда, проигнорировав мою просьбу, прибежала с букетом цветов моя Таня, да еще вдоль стены стояли шесть здоровенных мужиков в одинаковых темных костюмах. Осталось непонятным, зачем их туда пригнали. Шампанского в ЗАГСе не было.

Во время бракосочетания на вопрос о кольцах дамы, которая проводила это мероприятие, я бодро ответила, что их нет. Но Андрей сказал, что есть, и достал из кармана коробочку, в которой оказалось не кольцо, а тоненький золотой браслет. Это был первый его подарок мне. До этого ни разу ничего не было. А потом, как от того разговора на ступенях телеграфа в декабре 1970 года до декабря 1989-го пошло по восходящей духовно-душевное, а потом и физическое единение, так от этого браслетика пошли по нарастающей и конфеты, и цветы, и вазы, и духи, и украшения. Андрей быстро приобрел до того незнакомое ему чувство радости от дарения и стал делать подарки не только мне.

Третья неожиданность этого дня ждала нас дома. Это был роскошно накрытый стол. Оказалось, Циля[13] и Маня[14], сговорившись с мамой, все утро жарили и пекли у себя на улице

Обуха разные вкусности. Циля и мама были дружны со времени Гражданской войны, когда они обе на Дальнем Востоке служили в санитарном отряде Федора Николаевича Петрова. Маня (младшая сестра Цили) была в конце 30-х — в 40-е годы в одном с моей мамой карагандинском лагере жен изменников Родины. Это ей мама, стоя рядом на вечерней лагерной поверке и глядя на звездное небо, сказала: «Смотри, какая красота». А Маня на это маме ответила: «Ты что, сумасшедшая, какая тут может быть красота». Часто и потом Маня говорила маме: «Вот сумасшедшая, занимается детскими забавами». Это говорилось, когда мама целыми вечерами рисовала нам разные плакаты и шаржи и шила костюмы для наших домашних игр и спектаклей. А мама это очень любила.

И пока мы отсутствовали, Алеша перекантовал к нам все, что настряпали Циля и Маня. Так что свадьба, несмотря на то что Андрей оробел перед собственными детьми, получилась, и даже с шампанским. Из гостей были только Циля, Маня и Наташа, да наша с мамой семья — Таня, Алеша и Ефрем, теперь включающая (уже официально) и Андрея. Не помню, был ли Андрей Твердохлебов. Вспоминали многолюдье свадьбы Тани и Ремы, когда в доме было более 50 человек и неимоверно большую, в четверть обеденного стола коробку шоколада, которую тогда принес Булат.

А вечером мы с Андреем уехали в Киев и, хотя поездка была вызвана необходимостью встретиться с Виктором Некрасовым, она стала для нас вроде как свадебным путешествием. В гостинице Андрей предъявил той же самой дежурной наши паспорта со свежими, накануне поставленными штампами о браке. Она смущенно поздравила нас и пустила переночевать в одной комнате. В доме у Некрасова мы познакомились со Славой Глузманом. Вечером он провожал нас на вокзал, вообще как-то сразу понравился, даже больше — сразу обоим пришелся по душе. Но мы тогда еще ничего не знали о его подвиге — заочной психиатрической экспертизе Петра Григорьевича Григоренко.

После 10 января разрешили въезжать в мой кооператив, и 14 января совершился переезд, хотя в доме не было газа и телефона. Грузчиков не нанимали, помогать в переезде пришли друзья. Еще не были пущены лифты, и «богатырь еврейского народа» Володя Гершович втащил на себе на 8-й этаж холодильник. И было очень весело работать. Андрею очень нравилось трудиться в этой компании. Потом поужинали, что-то выпили и, оставив Таню и Ефрема на новом месте, поехали всей компанией на электричке в город. Новогиреево, где был мой кооператив, тогда воспринималось как пригород.

На вокзале нас встретил кто-то из друзей и сказал, что в Москве было несколько обысков. И опять этот всегдашний контрапункт нашего бытия — только что радость от новоселья и сразу столкновение с диссидентской повседневностью — если были обыски, значит, жди арестов. Январь стал месяцем арестов в Москве и на Украине.

После переезда ребят в доме стало несколько просторней, у каждого появилось постоянное место для сна и для работы. Однако людей, в течение дня проходящих через наш дом, становилось все больше и больше, и делом мы с Андреем фактически могли заниматься только ночью. И в маминой, и в моей жизни возникло еще одно осложнение. Со времени, как мама получила эту квартиру на ул. Чкалова, у нас все годы была приходящая домашняя работница Елена Ивановна — бывшая санитарка 20-й детской больницы. Обычно она приходила два раза в неделю, но если возникала необходимость, например, заболевала мама, то и чаще. Я была избавлена от стирки, от уборки и закупки части продовольствия. Но вскоре после нашего с Андреем официального бракосочетания Елена Ивановна сказала маме, что больше не будет приходить, потому что ее вызывали в КГБ и предложили работать осведомителем, наблюдающим за нашим домом. Она отказалась, но продолжать у нас работать боится.

Почти одновременно начались осложнения у меня в училище. Директор, с которым у меня были прекрасные отношения, несколько смущенно спросил, не хочу ли я в связи с замужеством отказаться от должности заведующего практикой, на которой я фактически организовывала всю профессиональную подготовку учащихся. Я сказала, что не хочу, но если от него это требуют, то могу пойти лично ему навстречу, взяв большую педагогическую нагрузку, чтобы таким образом компенсировать потерю в зарплате. Но он сказал, что не сможет мне ее дать. Это было совсем странно. Мы всегда старались в предпенсионный период дать такую нагрузку преподавателям, чтобы у них получалась максимальная пенсия. Это было во всех учебных заведениях негласным этическим правилом. И тогда я сказала, что предпочитаю воспользоваться своим правом инвалида войны и уйти на пенсию,[15] доведя свой выпускной курс до госэкзаменов в мае. А стажа, и общего, и врачебного, и преподавательского, у меня было более чем достаточно. Своим решением я несказанно его обрадовала, и он так проникновенно меня благодарил, что я поняла, как нелегко ему достался этот разговор со мной.

Андрей был обрадован моим решением. Но мама, воспитанная в традициях семьи, где все женщины, начиная с

поколения моей бабушки, были профессионалами и работали до преклонного возраста, была недовольна и считала, что лучше бы я продолжала работать.

Приближались школьные мартовские каникулы, и мы решили ехать в Среднюю Азию: во-первых, посмотреть, а во-вторых (и второе определяло и регион, и маршрут), познакомиться с семьей недавно осужденного молодого человека из Душанбе Анатолия Назарова. Осужден он был за то, что, записав с радио «Размышления» Сахарова, послал по почте пленку своей подруге в другой город. Случай, доказывающий интерес к подобным радиопередачам не только в столичных городах, но и в провинции и подтверждающий широкую, почти тотальную перлюстрацию всех почтовых отправлений. Лететь собирались вчетвером. Андрей опять надеялся, что у мальчиков сложатся отношения и само путешествие привлечет Диму. Но Дима ехать отказался, как считал Андрей, под влиянием сестер.

Путешествие было интересным, хотя Назарову наши контакты с его семьей, которая нам очень понравилась, и с адвокатом никак не помогли. После нашего визита Анатолия перевели в другой лагерь в соседней республике. А без малого через 30 лет в период становления Содружества Независимых Государств в Душанбе вспыхнули антирусские беспорядки. И был убит брат Анатолия, депутат городского совета (русский по отцу, таджик по матери).

Мы были и в Душанбе и в какой-то очень красивой долине Киргизии. Были в Бухаре, Самарканде, в Ашхабаде и Мары (городе, где я родилась). Город этот, когда-то бывший столицей всего региона, поразил нас пылью, бедностью и обилием палестинцев во всех чайханах, столовых, кафе и в гостинице. Оказалось, что в нем и в его окрестностях расположено несколько лагерей подготовки палестинских боевиков. И мы, переночевав в гостинице, поехали в Фирюзу, не зная, что это пограничная, и, следовательно, запретная для вольных путешественников зона. Название я помнила с детства, когда от папы слышала, что эта долина — одно из самых красивых мест, которые ему довелось увидеть.

Ночным автобусом на рассвете мы приехали в маленький, ничем не примечательный городок, окруженный горами. Делать и смотреть в нем было абсолютно нечего. И мы, купив хлеба, овощей и фруктов на крохотном базарчике и залив термос кипятком в какой-то еще не открывшейся столовой, решили спускаться вниз по долине, идя вдоль дороги. Пройдя несколько километров, проголодались, и нам после ночи в автобусе захотелось спать. Выбрали зеленый склон горы с пламенеющими

островками алых тюльпанов. И очень уютно расположились в тени какого-то дерева. Красота была необычайная. Поели и задремали. Я вроде как слышала какой-то разговор Андрея и Алеши. Отдельные слова. Фирюза. Бирюза. Фирдоуси. Саади. Или мне это уже снилось? Проснулась от чужого голоса. Над нами стоял молодой офицер и требовал предъявить документы. А на дороге в десятке метров от наших ног стоял маленький грузовичок с несколькими солдатами. Нас застукал пограничный патруль. Но все окончилось на удивление мирно. Офицер знал имя Сахарова и никаких мер против нас не предпринял. Только отправил нас вниз на каком-то попутном транспорте.

Нас Средняя Азия захватила за живое. Особенно Бухара. Одних школьных каникул нам на нее не хватило. В марте 1973-го, когда Алешка был в 10-м классе, мы вновь полетели туда и прихватили еще и Хиву. И Дима опять отказался ехать с нами. Во всех таких наших совсем не комфортных путешествиях меня поражал Андрей. Он как мальчишка радовался любому Алешкиному предложению еще куда-то поехать или еще что-то посмотреть. Его не смущала крайняя бедность и запущенность домов колхозника, в которых мы останавливались, отсутствие всех удобств и скудость еды. Единственным огорчением каждый раз был отказ Димы поехать с нами.

Вообще Андрей оказался человеком удивительно легким в семейной жизни. Он просто и радостно принял друзей всех трех поколений нашего дома — маминых, моих и друзей детей, как будто именно их ему в жизни и не хватало. Азартно принимал участие в наших играх, начиная с картин (мы придумали и одно время увлекались такой игрой — отгадывать, какую картину изображает ведущий) и кончая известной игрой вроде флирта, под названием «Садовник» (Я садовником родился, не на шутку рассердился. Все цветы мне надоели, кроме сансапорели и т.д.). Несколько удивился, впервые со мной придя к нам в дом, что дверь не замкнута, а закрыта на газету (чтобы ветер ее не распахивал). И внимательно прочитал записку, засунутую за провод у звонка: «Не звонить — открыто». Заведено это было задолго до «явления Андрея» в нашей семье, чтобы не бегать открывать дверь, особенно когда Алешка был помладше и все его приятели без конца шастали во двор и со двора. Позже «открытая дверь» пополнила копилку легенд об Андрее, хотя в квартире на Щукинском у Сахарова дверь всегда была запертой. И «Не запирайте вашу дверь, Пусть будет дверь открыта» — это никак не относится к Андрею, а скорей — к моей маме.

Некоторые установки Андрея (слово неточное, но не нахожу другого) исчезли сами собой. Например, он сказал в первые дни,

что не ест грибной суп. Ну, не ест, и не надо. Всегда можно сделать ему какой-нибудь другой. Но однажды я по ошибке налила ему грибной. И он сказал, какой сегодня вкусный суп. Я говорю, это же грибной, который ты не ешь. А он на это отвечает, что ошибался. То же самое произошло с бараниной (очень полюбил мое фирменное блюдо — плов).

Была у меня еще сугубо личная война с тремя атрибутами его туалета — с кальсонами, с галстучком, который на резинке, и с галошами. Кальсоны я не терпела с армейских времен. Наши раненые ходили в них как в верхней одежде не по своей вине, а потому что не было халатов. И навсегда запомнилась картинка: в сумерках стоит у вагонного окна с медсестрой молодой парень. Издали видно, что говорит он ей что-то нежное, что-то о звездах и луне, может, даже стихи читает. И одной рукой ее обнимает, а другой кальсоны свои поддерживает, которые на причинном месте без пуговиц и держатся на завязке у пояса. Тут даже намека не остается от романтического отношения к мужчине — рыцарю, герою, заступнику. И я себе сказала, что в моей жизни никогда не будет мужика в кальсонах.

Поэтому, когда однажды осенью еще в 1971 году Андрей принес со Щукинского две пары кальсон голубовато-сиреневого цвета, я ему про них все разъяснила. Но он возразил, что без кальсон холодно. Правильно, холодно! Завтра пойдем и купим два шерстяных тренировочных костюма — будет тепло. Но они дорогие! Что, опять возвращаемся к настольной лампе? В общем, или я, или кальсоны? Эту битву я выиграла.

Галстучки (их было три) — два просто выбросила, а про оставшийся сказала, что сохраню как музейный экспонат (сохранила, и надо бы не забыть отдать в музей!), потому что настоящий мужик должен уметь красиво завязать галстук, а не цеплять вокруг шеи эту сиротскую резиночку. А галоши просто выбросила уже без всяких объяснений.

В эту же весну (или в конце зимы) было три выезда из Москвы и мои первые контакты с коллегами Андрея. В Звенигороде была какая-то физическая школа, и мы провели там два дня. Андрей ходил только на одно из заседаний, остальные его, видимо, не интересовали, но мы много вдвоем гуляли по светлому заснеженному лесу. И вообще провели два дня и две ночи почти полностью изолированно от посторонних. Никаких контактов Андрея с коллегами я не запомнила. Но через много лет в чьих-то воспоминаниях прочла, что наш приезд вызвал большое любопытство у участников конференции, и на нас специально бегали смотреть.

Второй выезд был на конференцию в Дубну. Тут Андрей днем

бывал занят. А я бродила по берегу реки. На другой ее стороне был белый простор до самого горизонта, то, что я маленькой девочкой называла «чисто поле». Потом шла в город. Там, как и в поле, еще лежал снег. Но глаза слепило по-весеннему яркое и уже греющее солнце, и из-под снега вытекали тоненькие хрустальные струйки. Такого города, чтобы каждый дом был в лесу (это были высокие стройные сосны, то, что строители и художники называют корабельный лес), я раньше никогда не видела. И казалось неправдоподобным, что в лесу, как декорации, вместо избушек на курьих ножках или, на худой конец, дачных домиков с мезонинами стоят многоэтажные современные дома и небольшие очень европеистые коттеджи. В Дубне я познакомилась (впервые вошла в контакт) с коллегой Андрея по ФИАНу. Этим первым оказался Илья Ройзен. Но того, чем примечателен этот город для физиков — Института, ускорителя и электростанции, я не видела.

В мае мы без всякого дела поехали в Калугу. Я решила, что на день рождения Андрея надо уехать. Праздновать без его детей было бы как-то неуютно, но и с ними тоже — очень уж острыми были тогда отношения. А Калугу придумал Андрей. Он очень трепетно относился к местам, где мы бывали вместе, к определенным датам. Всегда прозревал в них некую судьбоносность. И хотя утверждал, что впервые увидел меня у Валерия Чалидзе, местом встречи считал Калугу. Была очень весенняя весна. Мы с подачи Андрея посетили музей Циолковского. Андрей заинтересованно разглядывал там разные чертежи и модели. У меня же в памяти ничего не осталось. Бесцельно бродили по городу, который поразил меня обилием толстых, стоящих на широком фундаменте церквей (в большинстве недействующих). Даже те, которые были высокими, казались приземистыми из-за своей ширины. Нигде в России не видела так много таких некрасивых, без всякого полета, церквей. И мы пошли к реке. Вышли к набережной. Она высоко над водой! И противоположный берег! Он весь был как Ах! — весь — бело-розовое облако, под которым едва намеченными видны темные стволы. А над ним нестерпимо голубое небо. Как будто все «Вишневые сады» и Чехова, и всего мира решили лично нам показать себя в своей невыносимо прекрасной весенней силе. Ужинали в гостинице припасами, привезенными из Москвы. А по дороге к ней купили колоссальный букет сирени. В номере никаких ваз не было, и мы пристроили его в пластмассовую мусорную корзину. Запах стоял такой, будто спали в кустах сирени. Так и осталось в памяти от старинного города Калуги здание суда в 1970 году да цветущие калужские сады и аромат

сирени в 1972-м.

Через пару дней я собралась в Ленинград на проводы Юры Меклера. Слава судьбе или, как говорят, слава Богу, на второй заход его не посадили, в Израиль выпустили. Андрей решил лететь со мной, сказал, что будет сидеть в гостинице и писать что-то научное. Вечером я пошла прощаться с Юрой, а заодно с улицей Союза связи, где он жил. На ней в доме № 2 когда-то жила моя подруга Регина. Это был первый дом, куда я пришла в 1937 году. Соседний угловой дом, парадной стороной выходивший на Исаакиевскую площадь, был тот, где был мой Дом Литературного Воспитания Школьников, мой ДЛВШ. Арка Главного почтамта летела над этой улицей, а в ее конце были еще императорских, декабристских времен казармы конногвардейского полка. И с Юриным отъездом все это уходило безвозвратно куда-то в прошлое. От проводов в памяти осталось только, что почему-то не хватило одного чемодана и Володя Грибов (тогда еще не академик) гонялся домой и приволок свой чемодан. И еще какая-то всеобщая растерянность, припорошенная всеобщей же возбужденностью.

Когда я вернулась в гостиницу, меня в нее не впустили. Требовали доказательств, что я в ней прописана и что у меня там внутри муж. Никаких бумажек, подтверждающих и первое, и второе, у меня не было. И дверь захлопнули, сказав что-то вроде «Ходют тут всякие». Я посидела на каменной тумбе невдалеке от детской больницы Раухфуса (когда-то я там работала) и вернулась к гостинице. После повторного разговора на сильно повышенных тонах швейцар позвал дежурную, и она согласилась позвонить Андрею в номер, сказав, что ответственность за это (за что, я не очень поняла) будет на мне. Андрей подтвердил, что я есть я и даже жена. Он был до смешного взволнован этим эпизодом, как будто я не в белой и теплой ночи провела на улице в любимом городе пару часов, а в лютый мороз и метель пропадала в глухом лесу.

Лето 1972 года было посвящено сбору подписей под обращением об амнистии и об отмене смертной казни. Для меня это были первые (и во многих случаях единственные) контакты с коллегами Андрея по Академии. Ездили на Николину гору к Петру Леонидовичу Капице. Возил нас туда Ефрем на машине своей мамы. Его в дом не позвали, видимо, приняли за водителя. Капица долго и увлеченно говорил о том, что главная проблема человечества — рост населения на планете, и потому надо думать не об отмене смертной казни, а об ограничении рождаемости. Андрей соглашался насчет рождаемости, но пытался безуспешно убедить Капицу, что важно и то, с чем мы пришли.

Я во все время визита молчала. Смотрела в окно на реку. На обратном пути в машине стала читать стихи Кайсына Кулиева, которые потом Андрей неоднократно цитировал, — «Легко любить все человечество, соседа полюбить сумей…». Имя Кулиева Андрей знал и стихи какие-то читал. Но я рассказала, как Кайсын, раненый офицер-десантник, вернулся с фронта в 43-м и поехал в ссылку к своему народу. Там умерли его дочки от первого брака. Там он женился на Махе (и это тоже был подвиг, потому что ее отец был царский офицер). Рассказала и о переписке с Пастернаком. Андрей ничего этого не знал, никогда с Кайсыном не встречался, но, мне кажется, заочно понял или, верней, почувствовал, какой он человек. А сам Кайсын после прихода Андрея в наш дом больше никогда в нем не появлялся, хотя периодически звонил (до нашей ссылки в Горький) и в конце любого разговора говорил: «Передай поклон своему мужу — великому человеку».

Сбором подписей Андрей занимался и в Баку во время Всесоюзной конференции, и мы специально ездили в Ленинград. Но и в сообществе физиков, и в «колыбели революции», среди тех, к кому мы обращались, больше было «отказантов» чем «подписантов».

Меня в какой-то мере настораживало сходство аргументов, на которых основывался отказ от подписи. Всегда это было как бы Дело, направленное на пользу общества. Я не случайно слово «Дело» написала с большой буквы — так это нам преподносилось.

Лихачев говорил, что он занят спасением Царскосельского и других ленинградских парков (Дело!). Евтушенко пришел к нам сам в поразившем Андрея каком-то розовом шелковом костюме. Я думала — раз сам пришел, значит, подпишет. Но, похоже, пришел просто отметиться. Говорил, что если он подпишет обращения, то ему не дадут создать журнал современной поэзии и печатать стихи молодых (Дело!). Бруно Понтекорво говорил что-то о своей лаборатории (Дело!) и о двух семьях (итальянской, с которой приехал в СССР, и о новой семье с Радам — бывшей женой Михаила Светлова. Я знала ее в довоенные детские годы, так как они с Мишей тогда жили в писательском доме в проезде Художественного театра, том же, где Багрицкие и Олеши).

Будкер, к которому мы ездили в «Узкое» (единственный раз, когда я провела полтора часа в этом академическом санатории), ссылался на трудности, переживаемые Сибирским отделением Академии наук (Дело!), и тоже что-то о новой семье. Лиза Драбкина (и это меня огорчило, так как я сказала Андрею, что надо обратиться к ней, и была уверена, что она подпишет) — что

для нее важно опубликовать повесть «Кастальский ключ», которая будет очень полезна современной молодежи (Дело!). Тогда же она подарила нам рукопись этой книги и фотографию, на которой она рядом с Лениным. И с гордостью рассказала Андрею, что это она прозвала меня «Всехняя Люся» за то, что я посылала посылки нескольким зэчкам, при этом подписываясь их фамилиями (посылки передавались тогда заключенным, только если их посылали близкие родственники).

А один академик так откровенно объяснил причину отказа, что это нас даже развеселило. Он сказал, что не будет подписывать, потому что советская власть его тридцать шесть раз посылала за границу.

Булат подписал оба Обращения, а вечером того же дня позвонил Феликс Светов и попросил (сказал, что по просьбе Булата) снять его подпись. У меня тогда возникло чувство сожаления, что мы к Булату обратились — не надо бы! Но Феликс, Максимов, Владимов без колебаний подписывали. Владимов (как и Евтушенко), пришел к нам сам. И они с Андреем с ходу влюбились друг в друга. У Андрея этому еще способствовало, что ему очень нравился роман Владимова «Три минуты молчания». Георгий Николаевич просидел у нас до рассвета. Наташа (его жена) даже звонила, волновалась, не загулял ли Георгий Николаевич. И я редко видела, чтобы Андрей был так контактен с человеком, которого видел впервые в жизни.

И к Булату мы обратились как бы по инерции, все его друзья подписывали. Мои отношения с ним после этого на много лет вперед сами собой сошли на нет (что-то вроде двусторонней виноватости), а с Андреем так и не успели сложиться или необъяснимо для меня не получились.

Мое личное впечатление от кампании сбора подписей расходилось с Андреевым. Я не считала ее успешной — пятьдесят подписей на трехсотмиллионную страну, из которых половина — люди, подавшие заявления на эмиграцию. Мне казалось, что это даже не капля, а одна молекула в море. И еще одно очень четкое ощущение. Обращение Андрея за подписью у многих (и даже у тех, кто подписывал) вызывало настороженность и часто плохо скрываемое раздражение. Он нарушал душевный покой этих людей, действовал на их внутренний мир как лакмусовая бумага, заставляя увидеть в самих себе то, чего они старались не замечать. Проявить явную неприязнь к Андрею они себе обычно не разрешали. И переносили ее на меня, тем более что я была свидетелем (пусть и молчаливым!) их морального поражения.

Так слагалась легенда (в основном, в научном сообществе) о том, что я толкаю Андрея на поступки, наносящие ущерб его

положению в обществе и приносящие неприятности и осложнения тем, к кому Андрей обращается. Но реально ни одного имени людей из научных кругов, кроме Иосифа Шкловского, я никогда Андрею не подсказывала, я их просто не знала. А из всех коллег Андрея, к которым мы тогда обращались, по-хорошему запомнился принадлежащий к старшему поколению ученых академик-математик Владимир Иванович Смирнов. И не тем, что его дом был единственным, где нас накормили, и не долгой спокойной беседой, а тем, как по-доброму и с каким глубинным вниманием он смотрел на Андрея и слушал его. Не знаю, много ли общался с ним Андрей в прошлом, но мне показалось во время этой единственной с ним встречи, что он давно и хорошо знает Андрея и понимает внутреннюю мотивацию его поступков. И еще (кажется, астрофизический из ин-та Штернберга?) академик Петров. Ранее я как-то была с ним чуть-чуть знакома через Иосифа Шкловского.

Когда эпопея сбора подписей уже окончилась и Обращения уже были отправлены в Верховный Совет, я спросила у Андрея, почему он не обратился к Зельдовичу, ведь только его он назвал в ответ на Танин вопрос о друзьях. И Андрей как-то смущенно сказал, что Зельдович нашел бы веские аргументы, чтобы не поставить свою подпись.

В это лето приезжали на неделю обе мои флорентийки — Маша Олсуфьева и Нина Харкевич. С Ниной Андрей уже был знаком. С Машей познакомился в эти дни.

Приезд Маши и Нины оказался для них последним. Поэт и член Союза писателей Петр Вегин, с которым они познакомились в Италии незадолго до этой поездки (Маша сказала мне — он душка и прелесть), попросил их вывезти из СССР какую-то рукопись. Мне они об этом не сказали. Но я до сих пор не понимаю: как человек, знакомый с советскими реалиями, знавший, что все дни в Москве они общались с нами, мог обратиться к ним с такой просьбой? В Шереметьеве им устроили личный обыск. Рукопись нашли у Нины. И на этом кончились их ежегодные приезды в Москву. Им обеим перестали давать визы. А когда нас вернули из Горького и Россия открылась для многих, кто долгие годы был для нее персоной «нон грата», обе уже были больны, и хотя по разу выбрались в США к моим детям, но до России не добрались.

Весной этого года Ефрем закончил институт. Поступление в аспирантуру не состоялось. Как сказала одна из маминых подруг Маня, он теперь стал подсахаренный Янкелевич. И в Танин отпуск они уехали в Прибалтику. Жили дикарями на взморье. В Риге

останавливались у родителей Сильвы Залмансон, в Вильнюсе — у Эйтана Финкельштейна. По возвращении Ефрем начал работать в патентном бюро. А Таня работала в «Кванте» (физико-математический журнал для старших школьников и студентов), и ей оставалось еще полгода учебы в университете и диплом. После того как ее уволили из журнала, а потом исключили из университета, стала работать в книжном магазине, помещавшемся на первом этаже нашего дома. И почти каждый день они бывали у нас.

А мы втроем (Андрей, мама и я) сделали попытку жить на даче. Было не очень уютно, потому что Таня (дочь Андрея) с Мариной и няней заняла весь верх, а Дима с Мишей поселились внизу на веранде. Я разгребла многолетний завал ненужного барахла в сарае. Мы купили пружинный матрас, который водрузили на кирпичи, и это была наша опочивальня. Вообще-то нам было очень хорошо в сарае. Никто не слышал и не видел нас по ночам кроме леса. И мы не слышали никого кроме соловьев. Но днем, особенно когда приезжали гости, Андрей чувствовал себя несколько бездомным в собственном доме.

Когда в августе вернулся Алеша (он со школой на полтора месяца ездил помогать колхозникам убирать урожай), он поставил себе в саду палатку. Четырехлетняя Марина, не понимая разницы между палаткой и собачьей будкой, спрашивала у Андрея, почему Алеша живет в конуре.

14 августа был день рождения Димы, и мы все собирались его отмечать. Но Дима, получив от отца деньги, куда-то смотался, чем очень огорчил отца. А к нам приехал Коржавин и пришли Галичи. Они снимали дачу на нашей улице у вдовы академика Вольского. Алешка и Ефрем жгли костер, готовили шашлыки. Ночь была уже темная, августовская. Мы сидели почти в лесу — с шашлыком, с каким-то легким винцом. И Саша тогда впервые спел (кажется, не нам впервые, а вообще впервые, свежую, только что написанную?) песню. «Я не сыном был, а жильцом, угловым жильцом, что копит деньгу, расплатиться за хлеб и кров».

Потом к Алеше приехал Костя Богатырев (младший), и через пару дней они вдвоем ушли в поход по Московской области. В это время в Подмосковье начались обширные лесные пожары. Всю Москву и ближайшие пригороды заволокло дымом. И мы, и семья Богатыревых-Ивичей страшно волновались из-за наших мальчишек. Но они вернулись живые и очень довольные собой.

Потом мы с Алешей вдвоем совершили байдарочный поход. Андрея не взяли. Формальной причиной Алеша как капитан объявил его неумение плавать. В утешение ему был обещан на последние дни августа пеший поход на Кержач после нашего

возвращения. Андрей предложил Диме также пойти с нами. Но Дима опять отказался. А мы с Алешей были поражены, когда ночью в палатке, поставленной у этой очень живописной реки, при слабом мерцании догорающего костра Андрей сказал нам, что он впервые в жизни ночует в лесу в палатке.

Это были для нас с Андреем очень счастливые месяцы все большего и большего нашего сближения. Именно с этого лета во все последующие годы оно — это сближение, взаимопроникновение душевное и физическое, неуклонно шло по нарастающей. И я научилась спать на левом боку. Андрей говорил, что когда мои коленки упираются в его живот, на него нисходит (он употреблял именно это архаичное слово) чувство покоя и полного благополучия и в себе, и в мире. И я вдруг осознала, что мой вынужденный очень ранний уход на пенсию стал благом для семейной жизни.

Несколькими месяцами раньше Андрей после очередной мелкой стычки с Таней (своей) пытался ей что-то объяснить в наших (его со мной) отношениях и произнес слово «любовь». Таня на это сказала ему: «Какая такая любовь в пятьдесят лет. И, если тебе так надо было жениться, мог бы жениться на Серафиме Соломоновне[16]». Слова эти больно задели Андрея глубинным непониманием его. И это непонимание, которое он ощущал во всех трех своих детях, переживал не только как личную обиду. Больше страдал за них, считая (оправданно или нет), что есть что-то, не дающее им постигнуть многое в области чувств не только в другом человеке (в данном случае в отце), но и в самих себе. Считал в какой-то мере виной своей и Клавы, что они что-то в детях упустили. Спустя несколько лет в дневнике Андрей написал «мои злосчастные дети». В ответ на мой вопрос, почему он так пишет, напомнил мне тот давний разговор с Таней и добавил, что ему кажется, ничто в ней (в них) с возрастом не изменилось. Все то же непонимание. Но слово это сам понимал не как нечто несущее зло, а как боль за них, потому, что не ощущал в них способности быть счастливыми.

А вообще жизнь в доме складывалась очень гармонично. Таня и Ефрем и все их друзья не отдалились от дома. И меня очень радовала дружба Андрея и Алеши, возникшая осенью этого года, когда они остались вдвоем в доме. Мама в это время была на обследовании в своей больнице старых большевиков (была такая). Я уехала в Мордовию на свидание с Эдиком, а Андрей простудился и слег в постель. Ухаживал за ним и вел хозяйство три дня Алеша. А уже позже и в повседневной жизни, и во всех наших поездках, когда Алеша брал на себя основную тяжесть физической нагрузки, их отношения только укреплялись.

Углублялись отношения Андрея с Ефремом, который (если можно так сказать) становился все более и более профессиональным диссидентом, иногда (или, скорей, часто) в принципиальном плане даже более последовательным, чем Андрей. А Таня добавляла в эти отношения Андрея с парнями легкость и обаяние хорошенькой молоденькой и счастливой женщины.

Но с детьми Андрея у него все не ладилось. Таня (его) должна была въезжать в трехкомнатную квартиру, которую ей купил Андрей в новом академическом кооперативе. Что-то там у нее было с жеребьевкой не так, как ей хотелось. И она настойчиво просила Андрея поговорить с академиком Миллионщиковым. Андрей пытался ей доказать, что это поставит его в ложное положение (тем паче, что он вел с Миллионщиковым переговоры о включении себя в Пагуошскую советскую делегацию), но в конце концов сдался и позвонил ему. И она просила отдать ей машину. Это был то ли ЗИМ, то ли ЗИЛ (я не больно их различала) какой-то специальной модификации. И я, наверно довольно резко, сказала Андрею: «Отдай ты ей машину, может, они с Мишей отстанут, все равно пользуется ею только он, хотя, на мой взгляд, ездить на такой машине начинающему научному работнику не очень прилично». За два года я не помнила, чтобы он хоть раз подвез Андрея. И если Андрею надо было куда-то ехать, а академическую машину вызвать было нельзя (в субботу и воскресенье, а также в нерабочее время их рядовым академикам не давали), а в такси почему-то было неудобно, то Андрея вез Рема на «Москвиче» своей мамы или на своем послесвадебном «Запорожце». Вскоре была оформлена дарственная Тане на этот ЗИЛ-ЗИМ. И почти сразу он был продан куда-то на Кавказ, там рыночная цена такой машины была чуть ли не на порядок выше рядовых «Москвичей» и «Жигулей». И примерно в это же время (или несколько позже?) Дима ушел от Любы, что всерьез огорчило Андрея, и стал жить в Таниной семье.

После истории с Еленой Ивановной какое-то время мы не ощущали никакого давления КГБ. Видимо, специалисты из этого ведомства присматривались и искали новые пути вторжения в нашу семью. И нашли. Мои бывшие студенты, выпускники 1968 года Женя Врубель и Тома, в отличие от многих, кто был дружен с нашим домом во время учебы, но со временем как-то отвыкали, стали почти членами нашей семьи. Женя после окончания училища отслужил в армии на Дальнем Востоке. Когда вернулся, они с Томой поженились. Оба работали, он фельдшером на «скорой помощи», Тома в 23-й больнице в одном из самых тяжелых — нервном — отделении. К этому времени у них была

годовалая дочь Ася.

Однажды Женя пришел и сказал, что его во время дежурства с работы вызвали (как на вызов к больному) в гостиницу «Россия». Но в номере, откуда поступил вызов, его ожидал не больной, а два сотрудника КГБ. Ему было предложено наблюдать за нашим домом и докладывать им обо всем, что у нас происходит, а когда он отказался, хотели взять с него расписку о неразглашении этой беседы. Он отказался ее подписать, и они стали угрожать. Сказали, что у них есть достаточно материала на то, чтобы дать ему любую статью по его выбору, 190-ю или 70-ю, или устроить небольшую драку и посадить за хулиганство. На это он им ответил, что прямо сейчас пойдет и подробно перескажет все содержание этой беседы Елене Георгиевне и Андрею Дмитриевичу.

Ну и пришел, и рассказал, причем достаточно громко, так что они (КГБ) все, наверно, хорошо записали. За этим вызовом последовали с некоторыми интервалами еще два, в которых угрозы нарастали и стали приобретать более конкретный характер. Касались они уже не только нашего дома, но и дома Игнатия Игнатьевича Ивича. Женя много бывал у них, помогал Анне Марковне в уходе за Игнатием Игнатьевичем, у которого был перелом бедра, носил разные книги от нас к ним и от них к нам, и сам их читал. Все это приобретало очень серьезный характер.

Я стала бояться, что Женьку могут посадить, и совсем не потому, что он книжки читает и другим дает почитать, а потому, что он близок к нам. Я решила, что им надо уезжать, тем более что старшая сестра Жени Ирина, жена известного художника Гробмана, уже несколько лет жила с мужем в Израиле и туда же около года назад уехала его мама. Вначале Женя и особенно Тома не восприняли эту идею. И некоторые мои друзья спорили со мной, особенно Наташа Гессе. Отношение к эмиграции в широких интеллигентских кругах Москвы и Ленинграда (на кухнях) в конце 60-х — начале 70-х было скорей отрицательным, но к середине 70-х трансформировалось. Помню, как на Пушкинской довольно резко не одобряли решение эмигрировать Юры Меклера и близкого друга их дома Саши Гиттельсона. Но уже через 4—5 лет Наташа с той же экспрессией требовала от меня срочно организовать вызов ее сыну Игорю Гессе.

Помню один ожесточенный спор на кухне на Пушкинской в Ленинграде, когда все говорили мне — что они там будут делать? И мой ответ: то же самое, что и здесь — помогать больным и страждущим, — воспринимали как насмешку. А я злилась, потому что уже давно поняла, что в нашей интеллигентской среде

профессия медсестры или фельдшера воспринималась почти как отсутствие профессии, и пока не приспичит, пока сам или близкие не будут в них нуждаться, никем не уважаема. Сколько я копий на эту тему переломала и в газете «Медицинский работник» писала!

Женя и Тома не были в нашем кругу первыми, кто решил эмигрировать. Я знала некоторых подписавших письмо сорока[17] и эмигрировавших еще в 69-м году. Знала многих осужденных по самолетному делу в Ленинграде в декабре 70-го и по околосамолетному весной 71-го. Уже эмигрировали несколько моих близких друзей. Но месяцы, предшествующие отъезду Жени и Томы, переживались всеми в нашем доме по-другому — почти как внутрисемейное дело.

Я помню вечер, когда за несколько дней до отъезда они пришли, получив визы, и с билетами в кармане. У них были такие лица, как будто они уже отсутствуют, и только маленькая Аська была такой, как всегда, и, как всегда, крутилась возле Андрея. Меня поразило, что Андрей, который обычно не улавливал эмоционального состояния собеседников, после их ухода сказал, что они были как отрешенные. И смешная деталь — мы все были настолько не подготовлены к отъездам в практическом плане, что покупали Жене и Томе с собой твердокопченую колбасу и какое-то сухое печенье для Аськи. Но даже их отъезд не вызвал у меня предчувствия, что мне может в будущем предстоять разлука с детьми, которая тогда воспринималась как вечная.

В первых числах сентября прилетела из Парижа моя приятельница Таня Матон. (Она приезжала в эти годы 2—3 раза в год). Циля с Маней по этому поводу 5 сентября устроили грандиозный обед. Мы сидели в их просторной столовой — пять баб и один мужик — Андрей. Был приглашен еще Иосиф Шкловский. Но он, спросив у Цили, буду ли я одна или с Андреем, и услышав в ответ, что будем вдвоем, сказал, что он, к сожалению, занят. А Таня, между прочим, его родственница или свойственница больше, чем Цилина и Манина. Во время обеда смотрели открытие Олимпиады в Мюнхене и вживе увидели захват израильских спортсменов, напряженно вслушивались в слова и даже в дыхание репортеров, рассказывавших о происходящем на стадионе. Весь вечер и следующий день, не отрываясь, слушали радио. У меня почему-то разыгрался радикулит так, что я с трудом доходила до уборной.

Часов в пять с небольшим позвонил Алеша Тумерман и сказал, что люди собираются идти с протестом к посольству Ливана. Андрей сказал, что тоже пойдет. Я сказала Алеше, чтобы пошел с ним (он у нас был вроде телохранителя), но он ответил,

что уже собрался и без моего распоряжения. И в это время пришли Таня и Рема и, конечно, сразу решили, что тоже пойдут. Я так несерьезно отнеслась к этому, что сказала им, чтобы на обратном пути они купили что-нибудь вкусненькое к чаю.

Вернулись они значительно позже, чем я предполагала. Оказалось, их, как и всех пришедших несколько раньше, запихали в милицейскую машину и отвезли в вытрезвитель. Людей, выходивших на демонстрации протеста, задерживали и допрашивали для выяснения личности не в милиции, а в вытрезвителе, хотя пьяных среди них никогда не было. Так как все демонстрации по составу людей были преимущественно еврейские — в основном демонстрировали те, кто хотел эмигрировать, то вытрезвитель, куда отвозили демонстрантов, в народе называли еврейским.

Всех довольно быстро отпустили после стандартных вопросов о фамилии, месте работы и местожительстве. Но Алешу долго не отпускали, потому что он отказывался отвечать на любые вопросы. И Андрею пришлось идти и доказывать какому-то начальнику, что это его пасынок, который пришел вместе с ним. Поначалу их участие в этой демонстрации ни к каким последствиям не привело, да мы и не ожидали никаких последствий.

Во второй половине сентября был у нас на Чкалова вечер Галича. Саша был в хорошей форме и пел вдохновенно и безотказно. Людей было много, но слушали буквально затаив дыхание. Когда расходились, уже в передней Юра Шиханович сказал мне: «Теперь еще устрой вечер Окуджавы, и можно садиться». Как в воду глядел. 28 сентября позвонила Аля. Трубку сняла мама. Аля только успела сказать: «К нам пришли», и телефон отключился. Меня в этот день в Москве не было. Я накануне уехала в Потьму на свидание с Эдиком. Андрей и Таня сразу на такси поехали к ним. В квартиру их не пустили. Они стояли на лестнице. Но когда Юру вели мимо них к машине, Таня умудрилась прорваться к нему и поцеловать. Андрей потом с завистью говорил мне об этой ее мгновенной реакции и еще о том, как Джин, Юрина собака-дворняжка, где-то подобранная им, бежала долго за машиной, которая Юру увозила.

В середине октября мы летели на Кавказ — в Тбилиси, просто посмотреть, и в Армению в Цахкадзор на физическую школу. В Краснодаре самолет задержали на несколько часов из-за плохой погоды. В аэропорту мы встретили поэта Сергея Орлова, застрявшего там по той же причине. Сергей, как и Андрей, не был человеком легко контактным. Но если Андрей такой был от природы (говорят — такой от Бога), то Сережу таким сделала его

военная судьба. Однако эти несколько часов, проведенных вместе, оказались для Андрея больше чем случайное знакомство. И когда Сергей стал читать свои новые стихи, я поняла, что и для него эта случайная аэродромная встреча не станет проходным эпизодом.

В Тбилиси у Андрея было много встреч — там была какая-то научная конференция. Запомнилась поездка с Ягломами и Юрой Тувиным по Грузии. Приходил Марк Перельман. Но особенно душевной была встреча с Мишей Левиным. Мы два вечера упоенно втроем бродили по городу. Сидели в каких-то подвальчиках. И Андрей как-то трогательно переживал причудливые пересечения в нашей прошлой жизни. То, что друг его студенческих лет оказался приятелем Севы Багрицкого и знал про меня, воспринимал как особый знак судьбы.

У Андрея вообще была склонность какие-то прошлые, глубоко внутренние соприкосновения относить к категории судьбоносных. Знаком судьбы был портрет Бетховена, который он увидел над маминой постелью, впервые придя к нам в дом. И то, что я впервые в жизни в 10 или 11 лет была на концерте в консерватории, когда играл Лев Оборин мазурки и полонезы Шопена, а его папа играл те же мазурки и полонезы и очень ценил Оборина как пианиста. Или что из всех его «Размышлений» запал мне в душу только эпиграф, как знак человека, в чем-то близкого. И каждый раз, когда всплывало такое пересечение, он говорил, что это знак судьбы. Это было для него как заклинание Маугли: «Мы одной крови — я и ты…».

Он наверно очень обрадовался, если б узнал, что брат моей бабушки М.М. Рубинштейн преподавал в том же Педагогическом институте, где отец Андрея, был знаком с Дмитрием Ивановичем, и они очень дружественно относились друг к другу. Но это я узнала только через два года после смерти Андрея от ученицы его отца Наталии Ефимовны Парфентьевой.

После Тбилиси была физическая школа (почему-то некоторые научные конференции называют школами?) в Цахкадзоре. Мне было интересней, чем на конференции в Баку, потому что было много неформального общения с коллегами Андрея, и уж очень красивое, очень армянское было это место. Первую половину дня я одна бродила по лесу на склонах окружающих гор, плескалась в бассейне, ходила в Цахкадзор. Спортивная база, где проходила школа, расположена в паре километров от него. Перед ужином все ученые мужи разделялись на группы. Нашу группу составляли Марков, Зельдович, Смородинский, мы с Андреем. Но в отношениях между Зельдовичем и Смородинским ощущалась некоторая напряженность. И их взаимные подкалывания (особенно Зельдовича) не всегда были безобидны. Собственно,

именно тогда я с этими коллегами Андрея и познакомилась. Чинно гуляли по дорожкам парка, и они продолжали дневные дискуссии. Речь шла в основном о космологии. Я ничего не понимала и запомнила только, что Марков придумал белые волосы (не знаю, отражено ли это в литературе), а Андрей считал его гипотезу ошибочной. Меня в этих прогулках обычно развлекал Смородинский разговорами о литературе и искусстве, и с ним было интересно.

После ужина допоздна сидели в погребке, декорированном под пещеру. Наши спутники попивали винцо, иногда коньяк, я — кофе, Андрей — чай с конфетками. Шел общий легкий треп, анекдоты, какие-то загадки, сочинялись стишки — каждый по строчке. В последнем Андрей был самым успешным. Марков — скучным. Смородинский и Зельдович — оба остроумны. В погребке была музыка. Танцевали. Здесь Марков был на высоте — очень хорошо танцевал. Зельдович тоже хорошо танцевал и без конца меня приглашал, но мне с ним было неудобно, потому что он ростом ниже меня. И то, что он говорил танцуя, отличалось от застольных бесед махровой пошлостью, было на уровне гарнизонного офицерства.

Когда школа закончилась, мы с Андреем остались в Цахкадзоре еще на два дня. Днем бродили по окружающим горам, грешили ленью и любовью, а оба вечера полностью Андрей провел в научной беседе с Людвигом Фаддеевым. Кажется (хотя точно я не помню), они специально договорились задержаться. А я только успевала заваривать им чай и разламывать на дольки плитки шоколада. Уехали из Цахкадзора мы втроем на такси.

Потом были несколько дней в Ереване и в поездках по Армении. Для Андрея впервые. Мы оба совершенно отрешились от московских дел и забот — арестов, правозащитных документов, сложностей, возникших к этому времени во взаимоотношениях с Чалидзе и Твердохлебовым. И я, как и в Ленинграде, без конца таскала его по городу. И по стране. И по людям — моим и папиным выжившим друзьям. Были в Эчмиадзине, Гарни и Гегарде, обедали в Ах-Тамаре на Севане. Ходили в Матенадаран, в Художественную галерею, в студии к художникам и скульпторам. Были и в Музее революции, где тогда был стенд, посвященный моему папе Геворку Алиханову, — не знаю, есть ли он теперь? Ездили в Бюроканскую обсерваторию. Эту поездку устраивал академик Алиханян, и, соответственно, принимали нас там по-академически. Были у моих друзей и у моего молочного братца Андрея Аматуни. Его впервые после 1937 года я встретила на конференции в Баку — просто узнала во взрослом мужике десятилетнего мальчика.

Повела я Андрея и к Сильве Капутикян, несмотря на наш многолетний спор, и, конечно же, после моих предшествующих рассказов он в нее влюбился. А наш с ней так ничем и не окончившийся спор был на острую в то время тему. Сильва много ездила по всему миру, призывая армян, разбросанных по разным странам, вернуться в Армению — на их историческую родину. Это она считала как бы долгом армян. Написала об этом книгу. Но аналогичного права евреев уехать в Израиль, то есть тоже вернуться на свою историческую родину, не признавала. Такая вот была у нее, как я это называла, теория относительности. И кричали мы друг на друга на эту тему чаще всего на нашей кухне — у обеих армянский характер, у Сильвы еще почище моего.

Кстати, об армянстве. Я Андрею говорила, что в Армении я перестаю ощущать себя еврейкой. Становлюсь армянкой и забываю, что однажды Паруйр Севак — большой армянский поэт и отец сына Сильвы, назвал меня шуртаварцая — перевернутая, за то, что я не знаю армянского языка. Иду по улице, и вокруг все женщины похожи на меня. И их голоса мне напоминают мой собственный. И зовут меня все папины друзья и родственники Геворк-ахчик, хотя я уже давно не ахчик, и у моей ахчик есть своя ахчик[18]. Когда я привела Андрея к папиному другу Каро Казаряну, он, открыв дверь, закричал куда-то в глубь квартиры: «Геворк-ахчик пришла». И ночью в гостинице Андрей сказал, что, только услышав этот возглас Каро, поверил моему рассказу об армянстве, а до этого думал, что это байка.

Эти дни в Ереване были удивительно светлы и радостны. Да и сам город был тогда как «праздник, который всегда с тобой». Это после землетрясения и в 90-е годы он станет темным, холодным и голодным. Мы решили продлить еще на неделю этот праздник и заняли у Сильвы деньги, так как абсолютно прожились с гостиницей, поездками и какими-то подарочками. Андрей где-то пишет, что считал нашу первую поездку в Среднюю Азию свадебным путешествием. По времени оно, может, и так. Но по состоянию души наш медовый месяц — это Армения. Телефонный звонок вечером 16 октября разрушил эту идиллию. Таню исключили из университета. И мы вылетели в Москву.

В приказе об отчислении Тани было сказано: отчислить как не работающую. Она училась на вечернем отделении, а вечерникам полагалось работать. Все годы она работала, в последнее время младшим редактором в журнале «Квант», но не в штате, а замещая женщину, ушедшую в отпуск по беременности и уходу за ребенком.

Женщина эта еще не вернулась на работу, а Таню внезапно уволили (механизм этого увольнения так и остался неясным). В

это время оказалась вакантна должность корректора в журнале «Успехи физических наук». Евгений Михайлович Лифшиц хотел ее взять. Но через день или два позвонил Андрею и открытым текстом сказал, что представители органов безопасности не рекомендуют ему это делать. Андрей был очень благодарен ему за этот звонок, потому что след КГБ стал явным. Через несколько дней Таня начала работать в книжном магазине, помещавшемся на первом этаже нашего дома. И подала заявление о восстановлении. Тогда формулировку приказа изменили. Написали — отчислить, как не работающую по специальности. Мы все были удручены и понимали, что Таня выбрана как первая жертва.

Андрей в связи с этим был несколько раз у ректора университета Петровского. На одной из этих встреч присутствовал декан факультета Ясен Засурский. И тут наконец всплыла истинная причина отчисления. Засурский сказал, что отчисления Тани требовали арабские студенты, которые на нее в обиде за участие в демонстрации у посольства Ливана. Это была ложь — на факультете не было студентов-арабов. Был один эфиоп, но он был в хороших отношениях с Таней, бывал у нас дома, так как, зная английский язык лучше, чем многие ее однокурсники, она помогала ему в русском языке. Но истинную причину отчисления Засурский назвал верно — участие в демонстрации.

В конце октября 1972 года в Ногинске проходил суд над Кронидом Любарским. Мы потратили много времени, пытаясь получить его научную характеристику у кого-нибудь из известных астрономов. В конце концов характеристику написал Иосиф Шкловский. Потом он считал, что из-за этого его несколько лет не выпускали за рубеж[19]. Формально суд был открытым. Однако друзей Любарского, приехавших на суд, не только не пустили в зал заседаний, но несколько мужчин в штатской одежде очень грубо вытолкнули нас из здания суда на улицу. Во время этой стычки я ударила по лицу одного из них. Потом они повесили на дверь городского суда большой амбарный замок. Я тогда очень жалела, что ни у кого из нас не было фотоаппарата.

Вернулись мы в Москву после приговора поздним вечером. Дома нас ждал Джей Аксельбанк — тогдашний корреспондент «Ньюс-Вик». И Андрей этой ночью дал первое в жизни интервью иностранному корреспонденту.

9 ноября меня вызвали на заседание комиссии горкома партии. Туда была приглашена также Людмила Власова — секретарь парторганизации медицинского училища, в котором я работала до выхода на пенсию. Я дома написала заявление, в

котором просила исключить меня из рядов КПСС в связи с моими убеждениями, а также за неоднократные нарушения мною партийной дисциплины. В начале заседания я, как положено, передала председательствующему свой партбилет и это заявление. Он заявления как бы не заметил. И стал обвинять меня в агрессии против представителей органов правопорядка у здания суда в Ногинске. На это я сказала, что нас силой вытолкнули из здания люди в штатском. Потом он упрекнул меня в том, что я распространяю клевету, говоря, что мой отец расстрелян, а он умер в лагере, и мне была дана об этом справка. Я уточнила, что на мои запросы об отце я трижды получала ответы, и в них были указаны разные причины и разные даты смерти. И что давно ни для кого не секрет, что приговор 10 лет без права переписки означает расстрел. И не моя вина, что в КГБ такой эзопов язык. О том, что я давно не плачу членские взносы и не хожу на собрания (и то и другое — грубые нарушения партийной дисциплины), он не упоминал.

После долгих и каких-то абстрактных выступлений других участников заседания председательствующий сказал, что они передадут мое дело на бюро горкома. И протянул мне назад мой партбилет. Тут я сказала: «Оставьте его себе, я же написала, что прошу меня исключить». И в этот момент Люда Власова, сидевшая рядом со мной, закричала (не прошептала, как пишет Андрей, а закричала): «Лена, что ты делаешь, у тебя же дети!». И я ей в ответ тоже закричала: «При чем тут дети!». Воцарилось молчание. Потом председательствующий сказал: «Вас вызовут на горком. Можете быть свободны». И Люде: «Можете идти». И мы вместе вышли на улицу. Люда запричитала: «Что теперь будет, что будет?». Я ей на это довольно резко ответила: «Да ничего не будет». И действительно, ничего не было. На горком меня не вызывали.

Осенью Чалидзе принял приглашение приехать в США читать лекции. Андрей считал, что в этом есть элемент риска, так как его могут лишить гражданства. Но Валерий отрицал такую возможность. Андрей воспринимал это, как его неискренность. Он был огорчен и даже в какой-то мере обижен, потому что кроме деловых полагал еще доверительные человеческие отношения с Валерием. В деловом плане, Андрей думал, что, приняв идею Чалидзе о Комитете, став вместе с ним и Твердохлебовым членами-основателями, они втроем ответственны за его будущее. И поэтому Валерий не должен рисковать. А то, что разрешение было дано на поездку с женой быстро и без затруднений, демонстрировало заинтересованность КГБ в отъезде Валерия.

Кагэбэшные аналитики прекрасно понимали, что Валерий

является двигающим мотором Комитета (и организационным, и интеллектуальным — со своими юридическими тонкостями, которые Сахарову и, возможно, Шафаревичу были неинтересны) и без него Комитет зачахнет. Что, между прочим, и произошло. Его — Комитет — на какое-то время спасло вступление Гриши Подъяпольского. Но с отъездом Валерия Комитет был обречен.

В конце ноября проходило ежегодное общее собрание Академии. Вечером последнего дня для участников собрания был концерт Рихтера в концертном зале гостиницы «Россия». Это был единственный случай за 19 лет моей жизни с Андреем, когда я пошла на академическое мероприятие. Ни до этого, ни после я не ходила на академические приемы и банкеты.

В антракте ко мне подошел академик Будкер и пригласил в буфет поесть мороженого. Вел он себя как старый знакомый и близкий приятель, хотя до этого я встречалась с ним всего один раз, когда мы с Андреем собирали подписи под Обращениями об амнистии и отмене смертной казни.

Сидя за столиком, он начал разговор фразой: «Надо спасать Андрея». Описал, какой угрозе Андрей подвергается в Москве — кругом иностранные шпионы, и корреспонденты тоже шпионы, и Андрей может из-за контактов с ними погибнуть. После такой преамбулы он перешел к конкретным предложениям. Он предлагает Андрею должность (название не помню) в Сибирском отделении Академии. Зарплату, которая показалась мне почти астрономической, хотя цифру тоже забыла. Прекрасные жилищные условия — отдельный коттедж в шесть комнат. И расписывал какие-то заманчивые картинки, из которых запомнила только, что каждый месяц в Академгородок приезжает какой-то магазин, где все вещи из «Березки», но покупать их можно за рубли.

Я ответила ему, что все это прельстительно, особенно «Березка». И если б меня приглашали на работу на таких условиях, то я бы отнеслась к этому серьезно. Но поскольку речь идет об Андрее, то ему все эти прелести и надо предлагать. После концерта я пересказала этот разговор Андрею. Оказалось, как я и ожидала, с ним Будкер не говорил. Но спустя несколько дней Андрей, придя с ФИАНовского семинара, рассказал, что кто-то из его коллег слышал в академических кругах, что существует план перевести его каким-либо способом из Москвы в Новосибирск, и что преподносится этот план именно той фразой, с которой Будкер начал разговор со мной — «надо спасать Андрея». Андрей считал, что эта идея рождена в КГБ, и разговор Будкера со мной был неким зондажем. А концерт Рихтера был очень хорош.

В эту осень муж Тани Сахаровой устроил Диму, который ушел

от Любы и стал жить у них, во 2-ю математическую школу. Андрей был несколько удивлен, что Диму, который никогда ни в каких отборочных олимпиадах не участвовал, туда приняли. Но через полгода Дима вернулся в обычную школу.

А я с сентября договорилась с преподавателем английского языка, который давал уроки Алеше, чтобы он занимался и с Димой. Предполагалось, что из школы Дима будет два раза в неделю приезжать к нам обедать, потом будет урок, и он после него едет домой. Евгений Александрович охотно согласился, так как два урока в одном доме его устраивали. Но через полтора месяца он отказался от уроков с Димой, считая их фикцией, так как Дима не всегда являлся и не выполнял домашних заданий. Так что эта моя попытка вместе с английским языком как-то приобщить Диму к дому провалилась, к большому огорчению Андрея.

В конце года во второй школе, где в это время учились и Дима, и Алеша, проходил так называемый Ленинский урок. Я вспомнила об этом не только потому, что это был атрибут времени — нечто подобное клятве в любви к старшему брату по Орвеллу, но больше потому, что этот самый урок дал мне возможность уличить Андрея и в двоемыслии (чаще говорят — совковость), и в непоследовательности.

На этом уроке подростков механически принимают в комсомол без обычных собеседований и вопросов по уставу. Надо только подать заявление. Андрей уговаривал Алешу сделать этот шаг, чтобы не осложнять жизнь. Разговор происходил без меня, и я о нем не знала. Это была инициатива Андрея. Алеша ему на уговоры ответил одной фразой: «Андрей Дмитриевич, вы себе позволяете быть честным, так оставьте и другим это право». (Это было задолго до «Жить не по лжи».)

Андрей сказал мне, что Алеша дал ему урок нравственности, но он все-таки огорчен его антипрагматизмом. А я ему сказала, что это двоемыслие. В это же время Дима на Ленинском уроке вступил в комсомол, и Андрей был огорчен этим. А это была уже не менее явная непоследовательность. Одному подростку он советует делать то, что, если это делает другой, вызывает неодобрение. От моих слов Андрей вновь огорчился, но объяснить свое поведение не смог.

Год 1973

В конце декабря или в первые дни января, когда Андрей был дома один, пришла незнакомая ему женщина и передала для меня маленький сверточек. Это была жена одного из заключенных лагеря особого режима в Сосновке, возвращавшаяся в Западную Украину после свидания с мужем. Там была записка мне от Эдика, в которой он вручал мне судьбу своей первой книги «Лагерный дневник».

Лагерные документы, которые обычно вывозят из зоны в самых интимных местах, пишут на узких полосках тонкой прозрачной провощенной бумаги. Пишутся они крайне мелким шрифтом от руки карандашом, и расшифровка их очень трудна. Рема в это время был чем-то занят. Мне, с моими глазами, такая работа была не под силу, и я имела неосторожность единственный раз доверить это одному из близких друзей Кузнецова — Вите Хаустову. А он передоверил это (не сказав мне) Гарику Суперфину. Когда расшифровка была сделана, и ко мне вернулся и оригинал, и распечатка, я переправила распечатку Марии Олсуфьевой — ей, потому что она знала Эдика, встречалась с ним у меня и вместе с Ниной Харкевич принимала участие в его судьбе, присылала книги и какие-то вещи. Я совершенно твердо знала, что таков был бы и выбор Эдика.

В начале лета Маша смогла мне сообщить, что она получила этот материал, но его получил и главный редактор [парижского русскоязычного] издательства «Имка Пресс» Струве, поэтому возникли какие-то сложности с публикацией. Я ничего не могла понять. В это время приехала из Ленинграда Джемма Квачевская, жила как всегда у нас. Вечером пошла в гости к Якирам и придя сказала, что там вслух читают Дневники Кузнецова. Меня как обухом по голове стукнули. Уже полгода как арестован Витя Хаустов, уже арестован Суперфин. И кого еще потянут из-за того, что Витя отдал лагерную рукопись на сторону, а дальше пошло-поехало? Больше я никогда и никому ничего в руки не давала.

Во второй половине января Андрей вновь обратился к Петровскому по вопросу восстановления Тани. Петровский сказал, что решение зависит от общественных организаций, и пригласил на встречу с секретарями (кажется) парткомов университета и факультета журналистики. Встреча происходила в кабинете Петровского и в его присутствии. Вечером этого дня Петровский скоропостижно скончался. И тут же родилась инспирированная КГБ версия, что это случилось после разговора с Сахаровым, который якобы кричал на него и стучал кулаком по

столу.

Таня была восстановлена в университете новым ректором Ремом Хохловым осенью 1974 года. То, что она все это время работала в книжном магазине (т.е. не по специальности), видимо, уже не являлось препятствием. В 1975 году она отлично защитила диплом по Достоевскому.

Сейчас даже при наличии Летописи жизни и общественной деятельности Сахарова мне трудно установить последовательность внешних событий и наших внутрисемейных переживаний. И так как я пишу не об общественной деятельности Андрея, а о нашей с ним жизни, то излагать буду так, как она мне видится через 30 лет. Это не будет календарно точным, но, возможно, проявит на бумаге те причинно-следственные связи, которые я ощущала в событиях этого года и в последующие несколько лет, вплоть до выезда детей из страны осенью 1977 года.

После скоропостижной смерти Петровского и этой внутриакадемической, но не вышедшей на публику антисахаровской кампании, Евгений Львович Фейнберг посоветовал сделать попытку получить для детей разрешение на поездку в США для завершения образования. Он даже брался сам связаться с Вики Вайскопфом, что и сделал. Андрей очень горячо воспринял эту идею. Он как-то наивно полагал, что его западные коллеги смогут добиться положительного решения. У меня возражений не было, но мне с самого начала казалось это нереальным. Настоящую оппозицию мы встретили в семье. Алеша сказал, что он внутренне более готов к Мордовии, чем к заграница. А Ефрем, давно готовый к Мордовии, даже не стал ее с нами обсуждать. Он был абсолютно уверен, что из этого ничего не выйдет. Но посыпались вызовы им из США, и надо было что-то предпринимать. В этой связи интересен документ КГБ от 13 марта 1973 года, в котором говорится: «В последнее время Боннэр навязывает мужу мысль о возможном применении репрессивных мер к ее родственникам и в связи с этим убеждает его выехать за границу».

Так КГБ представлял членам ЦК нашу попытку получить разрешение для детей выехать на учебу (но не в эмиграцию). И меня, якобы стимулирующую у Сахарова желание эмигрировать. Но мы никогда (и я вплоть до сегодняшнего дня — август 2004 года) не ставили своей целью эмиграцию, никогда этой проблемы не обсуждали. Но она и, именно в такой формулировке, позже стала широко обсуждаться вокруг нас. И в этом плане этот документ КГБ интересен как первоисточник того, что потом становится расхожим мнением. Отголоски этого предложенного

КГБ взгляда появляются у Солженицына и у других пишущих диссидентов, в том числе тех, кто хорошо нас (меня) знал. Я всегда считала, что лучше эмигрировать, чем садиться, и всегда это советовала тем нашим друзьям, которым угрожал арест. Но я никогда не мыслила этого для нас, не была столь наивной, чтобы полагать, что Сахарова в те годы могут выпустить из СССР. Ведь тогда распалась бы вся система отказов в выезде из-за секретности. Я и раньше считала, что многое, что считают (и у нас в стране, и на Западе) общественным мнением, формируется в КГБ. Документы КГБ, доступные теперь, подтверждают это. А формирование общественного мнения — работа этого органа ничуть не менее важная, чем его репрессивная деятельность.

И как раз в эти дни, а точнее 14 февраля, в «Литературной газете» появилась большая, на целую полосу, статья ее главного редактора А.Чаковского, осуждающая Сахарова. Вскоре (и я усматриваю в этом прямую связь со статьей, вызвавшей беспокойство среди американских физиков, а совсем не то, что мы предприняли попытку получить разрешение детям на поездку) пришло первое приглашение Сахарову в Принстон от Уилера, позже подтвержденное формальным приглашением от Президента Принстона с указанием, что Сахаров приглашается с женой, ее детьми и ее зятем, и им всем будут оплачены дорожные и прочие расходы. Американская Национальная Академия, также обеспокоенная статьей Чаковского, среагировала резкой телеграммой своего президента Филиппа Хандлера. Эти волны шли с Запада.

А дома были свои тревоги. На Алешу началось давление в школе. Его (чуть ли не единственного некомсомольца среди учащихся нескольких десятых классов) неоднократно вызывали к директору. С ним вели беседы о том, что он должен осудить Сахарова за его общественную позицию, и как-то неопределенно угрожали, причем это были не учителя или директор, а какие-то посторонние люди. И хотя Алеша в своих рассказах об этом был очень сдержан, мы понимали, что он нервничает, и ему стало в школе по меньшей мере неуютно.

И в это время произошла трагедия с сыном Саши Лавута. Мальчик погиб, и никто не знает, чем было вызвано это самоубийственное решение подростка, и было ли там замешано КГБ. Почти в шоке от этой трагедии и на ее фоне мы решили избавить Алешу от лишнего нервного напряжения и перевели его на оставшиеся до получения аттестата два или три месяца в обычную школу, в которую десять лет назад он пришел в первый класс. Там о нем осталась хорошая память, и его взяли буквально в тот же день, как я пришла со своим заявлением.

Одним из главных общедиссидентских событий этого времени было следствие по делу Якира и Красина. Многих вызывали на допросы как свидетелей и при этом угрожали, что если будет продолжать выходить информационный бюллетень «Хроника текущих событий», то будут новые аресты среди сопричастного к ее выходу круга людей. Андрей (с моей подачи и каких-то поощрительных слов моей мамы, которая в далеком прошлом знала отца Петра Якира) решил, в надежде облегчить судьбу Якира, обратиться к министру среднего машиностроения Славскому. Работая с 1949 по 1968 год на секретном объекте, который находился в ведении этого министра, Андрей был с ним хорошо знаком и много общался. А Славский в годы Гражданской войны был дружен с отцом Петра Якира — командармом Ионой Якиром, расстрелянным в 1937 году.

Из встречи Андрея со Славским, как и следовало предполагать, ничего не вышло. Только я, ожидая Андрея в течение нескольких часов около министерства, изрядно поволновалась. Андрей долго ждал, пока Славский освободится, а мне уже представилось, что его задержали и увезли куда-нибудь на допрос. А 13 апреля к нам домой пришел молодой лейтенант ГБ и передал Андрею письмо от Петра Якира.

Андрея удивила тональность письма, как будто оно писалось другу или хотя бы близкому знакомому, хотя в прошлом Андрей встречался с Якиром два или три раза в каких-то многолюдных собраниях, но они никогда между собой не общались. А содержание письма производило впечатление написанного под диктовку следователя. Оно демонстрировало победу КГБ над личностью Якира и одновременно содержало угрозу адресату (верней, адресатам — в КГБ понимали, что Андрей не будет держать это письмо в тайне).

Позже, уже после своего покаянного выступления по телевидению, Якир позвонил из Рязани, где был в ссылке, и в такой же необоснованно дружеской тональности просил Сахарова приехать к нему. Ни на письмо, ни на просьбу приехать Андрей Якиру не ответил. Не хотел создавать какие-либо отношения. Но это не было осуждением. Скорей, даже оставив Якира без ответа, внутренне Андрей относился к Якиру так же, как мама и я, следуя тому нравственному закону, который гласит: «Не судите, да не судимы будете». Мы много в эти месяцы говорили о страшной судьбе детей «врагов народа», подростками попавших в лагеря, как и Петр Якир. И среди детей маминых ближайших друзей были такие, да и я сама случайно избежала подобной участи.

После интервью Джею Аксельбанку, которое было осенью

1972 года, у нас в доме стали бывать иностранные корреспонденты. С некоторыми из них возникли дружеские отношения и у нас с Андреем, и у Тани с Ремой. Это было естественно — и мы люди, и корреспонденты тоже. Они, помимо профессиональной своей работы, могли к кому-то испытывать и человеческие симпатии. В разные годы мы были семейно дружны с Альфредом Френдли, Хедриком Смитом, Тони Остином, Моми Мумендейлом, Кэвином Клоузом. Мы бывали у них в гостях, и они бывали у нас. Но нескольким из наших друзей-корреспондентов их дружба с нашим домом обошлась дорого: их лишили аккредитации в Москве. Это были Франческо Маттиоли, Джулиан Нанди, Джордж Крымски и Улле Стенхольм.

Улле предложил Андрею сделать большое, так сказать, мировоззренческое интервью. Андрей согласился, и 2 июля интервью было записано на магнитофон. Мы предполагали, что одновременно с записью, которую делал Улле, работало и записывающее устройство в нашем доме. Но мы принципиально не были подпольщиками и фактически почти все, что делалось в общественном плане, все то, что называется диссидентской деятельностью, делалось открыто. Через несколько дней Улле принес расшифровку записи. Андрей ее выправил. И в середине июля интервью было опубликовано в шведской газете, прозвучало по радио и вызвало широкий международный резонанс.

Фоном жизни были аресты, следствия и суды, чуть ли не ежедневные правозащитные документы Андрея, повторяющиеся приглашения в Принстон, вызовы детям, и в связи с ними несколько обращений в ОВИР и в консульство США. Однако домашняя, семейная жизнь шла, как бы не пересекаясь с этими делами. В ней были другие тревоги и неожиданные для такого фона светлые события.

Алеша успешно окончил школу. Мы, вопреки разумности, полагали, что отличный аттестат и хорошая общая подготовка откроют ему дорогу в университет. С Димой эти тревоги предстояли только через два года, так как он был отдан в школу на год позже, чем положено по возрасту. Ефрем уволился из своего патентного бюро и уехал на заработки в экспедицию на Северный Урал. Таня продолжала работать в книжном магазине и осенью ждала первого ребенка.

Мы как-то разобрались, кто где живет на даче, хотя ни мы с Андреем и Алешей (он готовился к экзаменам в университет), ни Таня с Ефремом там жить этим летом не собирались. И я предложила Андрею пригласить на лето на дачу наших пушкинских — Наталью, Зоечку и Регину. Мне особенно хотелось этого для Регины. Наталья каждое лето ездила хоть на месяц

куда-нибудь в Прибалтику, Зоечка к своей сестре, а Регина уже несколько лет сидела безвыходно на шестом этаже их квартиры и каждое лето глядела в окно на каменный колодец двора. Андрей радостно согласился, и в июне Регина и Наташа приехали и провели (мама вместе с ними) лето в Жуковке. А мы часто приезжали, и общение было очень интенсивным.

Люба в начале лета вышла замуж, и ее муж был нам очень симпатичен. Перед свадьбой мы с Андреем нескончаемо ходили в ресторан гостиницы «Россия», где был заказан свадебный ужин, занимались разными покупками и приведением квартиры на Щукинском в предсвадебный порядок. В эти дни мне приоткрылось, что в отношениях с дочерьми Андрея получилось, что на меня в какой-то мере они (или, может быть, только Таня?) переносят ответственность за прошлые их семейные сложности. Томар (мать Ефрема), встретясь с Таней Сахаровой, поздравила ее с предстоящей свадьбой сестры. Таня очень раздраженно ответила, что ее поздравлять не с чем, что Любе что-то покупают и устраивают свадьбу (при этом как-то упоминалось мое имя), а когда она выходила замуж, ничего этого не делали, и даже родители ее не пришли на свадьбу. Томар очень растерялась и сказала только, что упрек в мой адрес ей кажется несправедливым.

Когда я с некоторым недоумением, как такое могло случиться, пересказала этот эпизод Андрею, он несколько смущенно подтвердил, что действительно он и Клавдия Алексеевна плохо отнеслись к этому событию в жизни старшей своей дочери и на ее свадьбу, хотя никаких определенных поводов для этого не было, не пошли.

Алешу на экзаменах в университет с циничной откровенностью провалили — поставили двойку за сочинение. Нам, после небольшого скандала на конфликтной комиссии, показали его работу. Там стояла четверка, которая была зачеркнута, и под ней стояла двойка. И хотя тенденциозность (а вернее подделка) была наглядной, нашу апелляцию комиссия отклонила. Мы все, но особенно Алеша, были угнетены, но он все же отмобилизовался и пошел снова сдавать экзамены в педагогический институт.

И в эти дни Андрею позвонил зам. Генерального прокурора СССР М.П. Маляров и попросил прийти на беседу. Она состоялась 16 августа. Как обычно, я во время этой беседы ждала Андрея на улице. У меня было более чем достаточно времени, чтобы вспомнить все, что было связано с этим зданием и с этой улицей в моем детстве.

В здании, где находилась прокуратура, когда-то располагался

Московский комитет партии, и там работала мама. Чуть дальше от центра на этой улице была моя школа. В доме наискосок от прокуратуры я бывала в гостях у одного моего школьного приятеля. А рядом был ломбард, куда я с бабушкой после ареста папы относила кучу каких-то вещей, которые потом никогда не были выкуплены. Какую же большую жизнь надо прожить, чтобы все эти улицы и дома стали частью биографии.

Вернувшись домой, Андрей по моему настоянию подробно записал содержание беседы. Я напечатала несколько закладок. Но излагать полностью содержание этой беседы здесь не буду, так как она неоднократно публиковалась, а если говорить о ней в двух словах, то это было предупреждение о том, что, если Сахаров не прекратит своей деятельности, то к нему будут применены другие меры. И 21 августа на большой пресс-конференции у нас дома мы раздали этот текст иностранным корреспондентам.

В тот же вечер втроем — Андрей, Алеша и я вылетели в Ереван. Диму в этот раз с собой даже не пытались звать. В самолете Алешка вдруг сказал: «А ведь сегодня 21 августа». Все годы с 1968-го мы как-то отмечали этот день, а тут забыли!

В Ереване в этот приезд мы ни с кем из друзей не общались. Днем ездили и ходили все по тем же туристским местам. Вечером, вернувшись в гостиницу и пообедав, мы с Андреем падали с ног от усталости, а Алеша еще находил в себе силы и в охотку шлялся по ночному городу. У всех троих наступило полное расслабление. Андрей полностью отключился от всех московских дел, встречи с Маляровым, пресс-конференции, решал с Алешей задачи из «Кванта», обсуждал проблемы космологии. А у Алеши исчезло с лица выражение напряженного ожидания чего-то трагического, появившееся в тот момент, когда он увидел двойку на своем сочинении, и не сходившее все это время.

Вечером 24-го он говорил по телефону со своей школьной подругой и будущей женой. Она спросила его, видели ли мы газету «Известия», а узнав, что не видели никаких газет, сказала, что надо посмотреть. Алеша обегал близлежащие ларьки, но газеты этой не нашел. Утром мы полетели в Батуми, и там на пляже я увидела, что какие-то рядом расположившиеся мужики читают газету, и при этом несколько раз прозвучала фамилия Сахарова. Я одолжила у них газету, и мы прочли заявление 40 академиков.

Самое большое впечатление оно произвело на меня. И не своим содержанием, а в связи с одним эпизодом, случившимся за два или три дня до нашего отлета из Москвы. Мы с Андреем получали (на самом деле — покупали, но так тогда говорилось) продуктовый заказ в столовой Академии. На выходе с нами

столкнулся незнакомый мне человек. Он долго жал руку Андрею и с захлебом несколько раз повторял, как он лично (как все мы — кто мы?) уважает и ценит Андрея. И в заключение сказал очень громко, так, что слышали окружающие: «Андрей Дмитриевич, вы наша совесть!». Когда он выпустил руку Андрея и мы оказались на улице, я спросила Андрея, кто это. Он ответил — академик Вул. И меня потрясло, что имя этого человека стояло одним из первых под этим заявлением. Я, конечно, понимаю, что подписи стояли по алфавиту, но уж очень свежо в памяти было воспоминание про «нашу совесть». Получалось — раз есть «наша», то свою совесть иметь не обязательно.

Утром мы, следуя своему плану, уехали в Кобулети, решив, если найдем жилье (гостиницы там не было), провести там оставшиеся дни. Нам повезло, видимо, в связи с окончанием сезона. «Дикари» уже разъехались. Мы нашли комнату в доме рядом с морем. Пляж был почти безлюдным и бесконечным и на север, и на юг. Вода в море теплющая и хрустально чистая (в Батуми — сплошная нефть). Алешка без конца учил Андрея плавать, а я без конца цитировала: «И в тяжбе борющихся качеств Займет по первенству куплет За сверхъестественную зрячесть Огромный берег Кобулет. Обнявший, как поэт в работе, Что в жизни порознь видно двум, — Одним концом — ночное Поти, Другим — светающий Батум» (Борис Пастернак. «Волны»). Мне всегда (еще с детского чтения «Колхиды» Паустовского) хотелось побывать в Поти. Но и в этот раз не получилось. Поплавали, и надо было возвращаться в Москву.

Мы вернулись в самый разгар антисахаровской кампании в прессе. При нас она приобрела черты антисахаровско-антисолженицынской, и внезапно, как будто кто-то повернул выключатель, весь этот «гнев народа» прекратился. Теперь, когда появился доступ к документам КГБ и ЦК КПСС, известно, что выключатель действительно повернули.[20]

В ответ на газетную кампанию в СССР на Западе прошла волна выступлений общественных деятелей, политиков и ученых в защиту Сахарова и Солженицына. Особенно важными Андрей считал выступления ученых и, в частности, телеграмму (на самом деле пространное письмо) президента Американской Национальной Академии Филиппа Хандлера президенту АН СССР М.В. Келдышу. Она была опубликована в газете «Нью-Йорк Таймс» 11 сентября.

Ответ на нее обсуждался на самом высоком уровне — на заседании Политбюро ЦК КПСС 17 сентября. На это заседание был приглашен М.В. Келдыш. Обсуждалась аналитическая записка КГБ СССР (также от 17 сентября), подписанная Ю.В.

Андроповым.

Из протокола заседания: «Брежнев: Может быть, подумать этой комиссии о том, как изолировать этого Сахарова. Может быть, сослать его в Сибирское отделение Академии наук СССР. Голоса: В Нарым его надо сослать, а в Сибири он будет опять мутить воду».

18 сентября Галич и Максимов написали Обращение к новой Чилийской администрации в защиту Пабло Неруды, которое подписал и Андрей. Неруда тогда (по сообщениям радио) был взят под домашний арест, и о дальнейшей его судьбе не поступало никаких известий. В письме, в частности, была такая фраза: «Насильственная смерть этого великого человека омрачит на долгие времена объявленную вами эпоху возрождения и консолидации Чили».

А 25 сентября в «Правде» появилась статья «Недостойная позиция». В ней все три автора Обращения, но в первую очередь Андрей, обвинялись в поддержке Пиночета. Мы «Правду» не выписывали, но утром нам кто-то из друзей сообщил об этой статье. Отнеслись мы к этому сообщению более чем равнодушно.

Накануне — 24-го у Тани родился сын, и мы были переполнены радости, но и некоторой тревоги, потому что младенец, по словам врача, был пока не очень активен. А днем, видимо только-только раскрыв «Правду», позвонил Зельдович. Трубку сняла я и сразу радостно сообщила — Яков Борисович, у нас мальчик родился. А он мне в ответ резко сказал: «Вы бы лучше, чем радоваться, за другим своим мальчиком, вашим любимым Андреем, следили». Как холодной водой облил. Я ему тут же выпалила, что другой мальчик давно совершеннолетний, так что в няне не нуждается. И передала трубку Андрею.

Андрей пишет, что Зельдович в своих упреках за это письмо был резок и неискренен. И телефонным разговором (зная, что телефон прослушивается) демонстрировал свою лояльность власти. Точно так Андрей оценил и звонок Зельдовича в октябре 1975 года. Тогда Зельдович советовал Андрею отказаться от Нобелевской премии, а когда Андрей с ним не согласился, то сказал, что он напишет ему об этом. И написал, но это письмо у нас, к сожалению, не сохранилось. Кажется, оно было среди тех документов, которые пропали при первой краже КГБ еще до Горького.

А я, разозленная тоном разговора Зельдовича со мной, высказала Андрею все, что я думаю о его друге. О пошлых заигрываниях со мной в Цахкадзоре, о телефонных звонках в Москве, когда он говорил — вы мне снились, или вы мне постоянно снитесь. И что его визит после Цахкадзора был, чтобы

опять не по телефону сказать что-либо в этом роде, а совсем не для научной беседы с Андреем. И (это главное) дело не в том, что я, может, и нравлюсь Зельдовичу (в этом я как раз сомневаюсь), а что Зельдович по натуре не просто бабник, а он пакостник. Ему надо в этом плане что-то себе доказать, и он готов поэтому отбивать любую бабу у любого мужика, будь то друг, сват или брат. И ни любовь, ни влюбленность или мимолетное увлечение тут ни при чем, а просто пакостничество, которое я что в мужиках, что в бабах, не терплю.

И я нисколько не жалею, что дважды в прошлом мимоходом Зельдовича обидела. Зря Андрей был тогда огорчен. Однажды, когда Зельдовичу как Герою Соц. Труда поставили положенный бюст, я сказала, что теперь ему нужен бюстгальтер, благо, похоже, уже есть что туда складывать. А второй случай был связан с Женей Левичем. Он, кажется, работал у Зельдовича. И когда решил подавать заявление на выезд в Израиль, то ему понадобилась характеристика для ОВИРа. Давать ее не хотели. И Зельдович стал нам доказывать, что Женя предатель, что из-за него пострадает весь отдел и прочее, что говорят в таких случаях. А я без дурных намерений спросила, а что бы он делал, если бы его Боря захотел уехать? И он ответил: «Мой Боря — русский» — на что я ответила: «А я не знала, что Варя вашего Борю не от вас родила». Зельдович вспыхнул, но смолчал. Оба эти разговора происходили при Варе, и я не заметила у нее неодобрения. Мне показалось, даже наоборот. Кажется, 25 сентября 1973 года я с Зельдовичем говорила в последний раз. В горьковские годы я два или три раза встретилась с ним в президиуме Академии, где каждую осень проходила подписка на газеты и журналы. В первую встречу я позвала его приезжать в Горький. В последующие он со мной не здоровался.[21]

Несколько после этих дней мы получили почти подряд три письма из Лондона от Жореса Медведева, которого в августе лишили советского гражданства. Первое из них было без даты и, собственно, не совсем письмо. Отпечатанный на машинке текст с названием СПРАВКА[22], над которым от руки написано — ДЛЯ ДРУЗЕЙ. До нас этот текст прочли несколько людей, близких Медведевым, и от них он пришел к нам (подлинник хранится у меня). Привожу его с некоторыми незначительными сокращениями:

> «В издательстве „Посев“ делами Сахарова А.Д. ведает Поремский. Он написал ряд обзоров по „Меморандуму“, также включил эти обзоры в посевовское издание „Рассуждений“ Сахарова… Кто

> такой Поремский? Это Председатель Совета НТС примерно с 1949 по 1971 г. Был одним из организаторов НТС с 1939 года. Во время войны был главным идеологом у Власова. Легенда о том, что он был в немецком лагере, неверна… В конце войны приехал от Власова для связи в Англию, чтобы договориться о переходе Власова на сторону англо-американских войск. В Англии Поремского арестовали, и он несколько лет провел в британской тюрьме как военный преступник. Делами А.И. Солженицына в „Посеве“ ведает некто „Рутыч“… Это псевдоним Николая Рутченко (тоже вымышленная фамилия), который был до 1941 г. следователем НКВД в Риге, а с 1942 г. — следователем Гестапо в Берлине. В США Есенин-Вольпин всю работу ведет через К.В. Болдырева. Болдырев — это председатель Северо-Американского отдела НТС. Явный провокатор…»

Когда эту «справку» нам передал наш знакомый, бывший в дружбе с Роем Медведевым, я спросила его, зачем нам этот донос. Это скорей справка для КГБ, причем написанная так, что она может быть не только источником сведений о членах НТС, но и обвинением Сахарову, Солженицыну, Алику Вольпину. И этим вопросом заслужила пожизненную нелюбовь этого человека.

Следующее письмо от 26 августа было уже лично Андрею. В первой его части Ж. Медведев, начав с упреков советским властям, которые лишили его гражданства, рассказывает о своих успехах, о своих публикациях, предложениях работы в двух университетах и прочем. А потом пишет:

> «Внимательно слежу за Вашими делами. Отсюда они кажутся голосом „вопиющего в пустыне“, что почти так и есть… Предчувствую, что они теперь после Якировского дела займутся в первую очередь Сахаровым и Солженицыным. Рой будет пока помилован, так как, если бы и его задели — это выглядело бы как кровная месть, сначала одного брата, потом другого. А им очень хочется, чтобы на них смотрели как на действующих в рамках закона. У меня такое впечатление, что Солженицыну грозит высылка из СССР (что-нибудь для этого предусмотрят в новом законе о гражданстве), а Вам ссылка в пределах СССР, без предварительного ареста».

Интересно, что это написано в самом начале газетной кампании и до опубликования на Западе солженицынского

«Архипелага». Жорес дает удивительно точный прогноз на будущее, прямо как будто ему продиктовали его с Лубянки. Во второй части письма Медведев пишет:

> «Очень был огорчен узнать, что Ваш сын не смог поступить в университет, и что судьба Вашего пасынка тоже оказалась не лучше. Вопросом о судьбе Вашей книги я детально не занимался, так как перспективы возможного приезда Ваших сыновей в США делали это неактуальным, они смогли бы поручить это адвокату, да и стипендия была им обеспечена. Сейчас же в новых условиях и в связи с темными перспективами я бы не советовал пренебрегать и этим фондом. Если Вы решите поручить это дело адвокату, то я постараюсь рекомендовать Вам кого-нибудь, чью деятельность можно было бы контролировать… Ваша книга, кроме США (где было коммерческое издание по договору с Солсбери) вышла в Голландии, в Англии, во Франции, в ФРГ, Швейцарии, Италии, Дании, Швеции, Норвегии, Бельгии. На русском языке издана „Посевом“, с которым, конечно, иметь дело нельзя по многим причинам. Учреждение это аморальное и с очень темным прошлым».

Это письмо вызвало у Андрея недоумение.

Третье письмо, которое дошло до нас еще через 2-3 дня, датировано 12 окт. 1973 г.

> «Дорогой Андрей Дмитриевич! Мне передали вашу просьбу по вопросу об образовании детей (МИТ и т.д.), а также о необходимости разъяснения различий между А.Д. и А.И. и рядом других. Я все это сделаю, но через некоторое время… Из Москвы на всех языках передавалась критика Сахарова в связи с его заявлением о Чили… В отношении сенатора Мондале и др., я думаю, что я разъясню различие позиции между разными диссидентами в прессе в достаточно ясной форме».

Каждая фраза этого письма (я процитировала едва десятую его часть) вызвала уже не только недоумение, но и нечастое для Андрея раздражение. Он не понимал, с чего это Медведев так интересуется его делами. Он никогда ни с какими просьбами к Ж. Медведеву не обращался. Никаких поручений не давал. Не просил приглашений (через него). Не просил кому бы то ни было разъяснять свою позицию. Не спрашивал о гонорарах, об

изданиях своих книг и прочем, не просил об адвокате.

Недавно (пишу в августе 2004 г.) братья Медведевы выпустили очередную книгу «Солженицын и Сахаров. Два пророка» (Москва, 2004, «Издат. дом Время»). В ней много старья и еще больше лжи. На мой взгляд, обсуждать ее скучно. Два пророка растираются в порошок, и пророками оказываются сами братья Медведевы. Но Жорес Медведев еще и сам себя опровергает. Он пишет (стр. 376), что «примерно за неделю до намеченного на 11 января 1973 года отъезда в Лондон… пришел попрощаться с Андреем Дмитриевичем Сахаровым и его женой Еленой Боннэр». (Это действительно было — приходил. — Е.Б.) «Когда я оделся, Боннэр и Сахаров тоже стали одеваться. Я понял, что они хотят проводить меня, чтобы поговорить о чем-то конфиденциальном… Говорила в основном Боннэр. Сахаров лишь кивал головой… у них была ко мне одна, но очень важная просьба. Они просили узнать, какие суммы гонораров у них имеются за границей…»

12 октября 1973 года (см. письмо) он пишет: «МНЕ (Ж. Медведеву) ПЕРЕДАЛИ ВАШУ (Сахарова) ПРОСЬБУ». «Передали» — форма сильно безличная. А в 2004 году возникает другой вариант, уже вполне утвердительный, что в январе 1973 года «ОНИ (Боннэр и Сахаров) ПРОСИЛИ». Но и первый, и второй варианты — ложь. Не провожали. И ни лично, ни через кого бы то ни было не просили ни о чем и никогда. Но «мели Емеля — твоя неделя» — благо Сахаров ушел из жизни почти 15 лет назад.

А вскоре в том же 1973 году Жорес и Рой слаженно выступили в прессе и по «Голосу Америки» (возможно, и по другим радиостанциям) с развернутой критикой взглядов Сахарова. Последовало открытое письмо В. Максимова «Кто вы такие, братья Медведевы?». А вслед за ним по Москве стала ходить рукопись анонимного (большого — 8 страниц) письма Жоресу Медведеву. На нем дата 17 ноября, и написано оно, судя по тону и характеру, кем-то из близких друзей этих братьев. Приведу лишь первый его абзац (Машинописная копия этого письма хранится у меня, но автора я не знаю. — Е.Б.).

> «Жорес Александрович! Не могу Вам передать, как я огорчился, услышав о Вашем выступлении против Сахарова. Уже критика Сахарова Роем была, с моей точки зрения, ошибкой, но ее я еще как-то могу понять, Рой все-таки политик, политика — его узкая специализация, кроме того он марксист и считал необходимым отмежеваться от некоторых высказываний Сахарова; наконец, он пишет изнутри, из „большого

лагеря“. Но Ваше общественное лицо — по преимуществу научное и писательское. Вы живете за границей, и отмежевываться Вам решительно незачем. Самое же главное, что вы выступаете вторым — и из чистой солидарности с братом, причем не из солидарности в защите, а из солидарности в нападении. Зачем это?»

Вот и я думала тогда, зачем это? Но при этом полагала, что Жорес, ни на одно письмо которого Андрей не ответил, больше не возникнет в нашей жизни. Ан, нет! Жорес Медведев вновь возник в 1975 году со своими выступлениями в Норвегии и письмами вокруг Нобелевской премии и в связи с моей поездкой в Италию.

6 октября началась война Судного дня — на Израиль напали Египет и Сирия. В первые же дни войны Андрей сделал несколько заявлений. Если не вдаваться в частности, его позиция осталась неизменной во все последующие годы его жизни.

11 октября к нам домой пришел человек, представившийся корреспондентом бейрутской газеты. Дверь открыл Андрей. Я была на кухне. Когда я вошла в комнату, Андрей записывал вопросы, которые он ему диктовал. Через несколько минут он ушел. Но мне что-то в нем не понравилось, и я спросила Андрея, уверен ли он, что это действительно журналист. Андрей сказал, что не уверен, но уже договорился с ним, что он зайдет позже и Андрей ответит на его вопросы. «Отменять поздно», — сказал он.

Интервью было кратким. Привожу ответы Сахарова на первый и последний вопросы.

«**Как вы оцениваете события на Ближнем Востоке?** Эта война, которая началась с одновременных крупномасштабных военных операций Египта и Сирии, — большая трагедия для обоих народов: арабов и евреев. Но для Израиля в этой войне, как и в войнах 1949, 1956 и 1967 годов, на карту поставлено само право существования государства, само право на жизнь. Я полагаю, что для арабов эта война, по существу, результат игры внутренних и внешних политических сил, соображений престижа и националистических предрассудков. Я полагаю, что эта разница существует и ее необходимо принимать во внимание, оценивая эти события.

Осуждаете ли вы сегодняшнюю политику

Израиля? Нет. Это страна, которая реализует право еврейского народа на государственность, борется в наши дни за свое существование, окруженная врагами, во много раз превосходящими ее по численности и материальным ресурсам. Эта враждебность сильно раздута опрометчивой политикой других государств. На совести всего человечества гибель евреев от нацистского геноцида во время Второй мировой войны. Мы не можем позволить повторения этой трагедии сегодня».

Спустя несколько дней в воскресенье в первой половине дня Андрей открыл дверь двум неизвестным. Сам по себе факт прихода к нам незнакомых людей был для нас обычным. Ежедневно приходили люди со своими проблемами и жалобами на преследования. Но эти вели себя с первого момента угрожающе. Говорил только один из них, крупный мужчина несколько рыхлого телосложения. Второй — невысокого роста, очень подвижный, во все время пребывания в нашей квартире не проронил ни единого слова, был явно подчиненным. Первый заявил, что они представляют «Черный сентябрь»[23], и потребовал, чтобы Андрей письменно дезавуировал все заявления и интервью, которые он сделал в связи с войной на Ближнем Востоке. Андрей отказался, и тогда он стал как-то угрожать. На это я сказала, что нас и без них многие грозят убить. На мои слова он ответил, что они могут сделать хуже, ведь у нас есть дети и внуки (внуку еще не было месяца). И что второго предупреждения нам не будет.

Я все время рукой придерживала Алешу, который сидел рядом со мной. И по тому, как он был напряжен, чувствовала, что он готов к драке. В это время в дверь позвонили. Тогда они молча показали нам, чтобы мы перешли в другую комнату. И через несколько минут бесшумно исчезли из квартиры, перерезав перед этим телефонные провода.

А Андрей внешне был абсолютно спокоен. Он сделал открытое заявление об этом посещении и сообщил о нем в нашу районную милицию. Вскоре нас туда вызвали и предъявили около полусотни фотографий для опознания. Мы оба (я уж точно) тупо на них смотрели и пришли к выводу, что опознать невозможно. Вроде есть похожие, но пересиливает сомнение — а вдруг назовешь человека, который ни при чем. Я даже подумала, что все подобные опознания весьма сомнительны.

А еще через несколько дней по почте пришла прелестная открытка из Бейрута (города, где был штаб «Черного сентября») с

очень красивыми марками (как будто знали мою страсть к маркам) с лаконичным текстом на английском языке: «Спасибо, что не забываете дела арабов. Мы, палестинцы, тоже не забываем своих ДРУЗЕЙ».

В начале ноября меня вызвали на допрос в Лефортово по делу Хаустова и Суперфина. Это было дело, связанное с передачей из лагеря мне рукописи Эдуарда Кузнецова «Лагерный дневник», появлением этого дневника на Западе. До допроса со мной беседовал какой-то большой начальник о том, что я плохо влияю на мужа и это может привести к тяжелым последствиям, как для нас с Андреем, так и для моих детей. Я, так же как на бюро партии, сказала, что дети тут ни при чем, и добавила, что ведь еще Сталин сказал, что сын за отца не отвечает. Потом были допросы — сколько уже не помню. Фамилия следователя была Сыщиков, именно он вел все допросы, а в повестках писалось, что меня вызывает следователь Губинский. И я однажды спросила своего следователя, почему он меня допрашивает, если в повестках написано, что я должна явиться к следователю Губинскому. На это он сказал: «Губинский — тот молодой человек, который сопровождает вас в туалет». Тогда я спросила: «А Сыщиков это у вас псевдоним?». На этот вопрос он отреагировал очень бурно и отсадил меня от своего стола на другой стул подальше и перестал повторять, что если я ему доверюсь, то он проведет меня через следствие как родной отец.

Формально я допрашивалась как свидетель, но следователь без конца утверждал, что у него достаточно материалов, чтобы в любой момент сделать меня из свидетеля обвиняемой.

Я держалась самой простой для меня тактики — не отвечать ни на какие вопросы. Андрей ходил со мной и терпеливо высиживал по нескольку часов в маленьком вестибюле около бюро пропусков, долгие часы ожидая меня. На допросе 27 ноября я сказала следователю, что считаю мое общение с ним бессмысленным и, если он хочет предъявить мне обвинение, то пусть это и делает, а я больше на допрос как свидетель не приду, и отказалась взять повестку на следующий.

После этого повестки стали приносить на дом. Брать их я отказывалась. Но однажды посыльный (в ранге старшего лейтенанта) поймал на лестнице Андрея и всучил ему повестку. Он же у нас вежливый — Андрюшенька. Я очень сердилась за это на него. И он, хотя я возражала, написал в КГБ заявление, что берет на себя ответственность за мою неявку. Делать это, на мой взгляд, было не надо. Повестки еще несколько раз клали в почтовый ящик. Последняя была 4 декабря.

Я на них никак не реагировала, потому что по закону

повестку надо вручать под расписку.

Еще в конце лета у меня начались какие-то неполадки с сердцебиением — появилась аритмия и участился пульс и стал около 90, а временами до 120. Терапевт определил тиреотоксикоз, и мне предложили лечь в больницу на обследование. А Андрею уже давно и неоднократно предлагалось лечь на обследование, которое по их академическим правилам проводят академикам каждые два года, а он был в больнице последний раз летом 1970 года. И 14 декабря мы оба легли в больницу. У нас была отдельная палата «Люкс», как там положено академикам, и были идеальные условия для работы. Посетители появлялись только после 5 часов, а днем и вечером мы были от них свободны. Андрей писал автобиографию, я правила и печатала, а в свободное от врачей и работы время мы подолгу гуляли в больничном саду и за его пределами.

В больнице у нас бывало много посетителей. Приходили обе Тани — и Андрюшина, и моя, Алеша и Ефрем (не помню, приходили ли Люба и Дима). Однажды пришли Копелев и Некрасов, и Лева заставил нас фотографироваться. Почти ежедневно забегал Володя Максимов. Он к этому времени уже решил эмигрировать и часто повторял: «Эту землю надо уносить на подошвах башмаков». Приходил тоже с проблемой отъезда (я устраивала ему вызов) Виктор Балашов. Однажды пришли Костя Богатырев и Саша Межиров, и Андрей читал им какую-то полунаучную лекцию.

Год 1974

Мы вернулись из больницы 31 декабря с короткой, но емкой автобиографией Андрея «Сахаров о себе» и с полной неопределенностью в отношении моей щитовидной железы.

Первые недели наступившего года в Москве были очень напряженными. В начале января исключили из Союза писателей Лидию Чуковскую, а в конце этого же месяца — Владимира Войновича. В Киеве прошел почти двухсуточный обыск у Некрасова и был арестован его архив. В городе Камешки был арестован Виктор Некипелов, в Архангельске — Сергей Пирогов. Это все были близкие нам люди, и каждое такое событие тяжело переживалось всей семьей. И на каждое Андрей реагировал открытыми письмами или заявлениями. В прессе, после опубликования на Западе книги Александра Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», началась жесткая антисолженицынская кампания. А я, между больницами, обследованиями и лекарствами, почти ежедневно до 2—3 часов ночи сидела за машинкой.

Вечером 12 февраля нам позвонил кто-то из друзей и сказал, что в квартиру Солженицына ворвались 8 человек, предъявили постановление о приводе в прокуратуру и увели его. В своих «Воспоминаниях» Андрей пишет: *«Мы с Люсей выскочили на улицу, схватили какую-то машину („левака“) и через 15 минут уже входили в квартиру Солженицыных в Козицком переулке. Квартира полна людей <…>. Скоро становится ясно, что Солженицына нет в прокуратуре, куда его вызвали, — он арестован. Время от времени звонит телефон, некоторые звонки из-за границы. Я отвечаю на один-два таких звонка; кажется, нервное потрясение и сознание значительности, трагичности происходящего нарушили мою обычную сухую косноязычность, и я говорю простыми и сильными словами».*

Около 10 часов вечера Андрей и еще кто-то ходили к Прокуратуре (это очень близко), но там было все спокойно. И по отсутствию дополнительной охраны и переодетых в штатское сотрудников КГБ стало ясно, что Солженицына там нет. Значит, он арестован.

В первом часу ночи мы вернулись домой. С нами приехали Павел Литвинов, Борис Шрагин, отец Сергей Желудков и еще кто-то. Мама с момента телефонного звонка о том, что Солженицына увели из дома, начала судорожно что-то вязать. А когда мы приехали, стала всех кормить и поить чаем. Все были возбуждены, все считали, что надо что-то делать, но вначале было

неясно что. И тут кто-то сказал — писать воззвание. Воззвание? О чем? К чему звать? Наконец в шуме и крике появились трезвые мысли, и стало вырисовываться содержание будущего Московского Обращения — требовать освобождения Солженицына и создания Международного трибунала для расследования фактов, разоблачению которых посвящена его книга «Архипелаг ГУЛАГ». Я села за машинку. Диктовали мне Шрагин и Литвинов. Они поминутно бегали на кухню согласовывать с остальными отдельные фразы и даже слова. Под утро текст был готов. Его подписали все, кто был в это время у нас дома. Кто-то стал звонить по телефону друзьям, чтобы собрать еще подписи.

К утру все разошлись. Мама легла. Андрей дремал на кухонном диванчике. А я в течение двух часов звонила в иностранные агентства и домой иностранным корреспондентам и диктовала им по телефону текст обращения. Почти сразу после этого (кажется, в 11 или 12 часов утра) радиостанция «Немецкая волна» сообщила, что самолет с Солженицыным приземлился на аэродроме во Франкфурте. Андрей позвонил Наташе Солженицыной, но она уже знала об этом.

А у нас в доме появилась еще одна кофта — черная с белой отделкой, связанная мамой в ночь с 12 на 13 февраля 1974 года и получившая название «солженицынская».

15 февраля прямо с моего дня рождения мы выехали в Ленинград. Провожали нас Володя и Таня Максимовы, которые уже складывали чемоданы, готовясь к отъезду из СССР. Было тревожно как-то более остро, чем всегда, от последних московских событий и грустно от предстоящей разлуки. Я по дороге на вокзал потеряла перчатки, и Таня отдала мне свои.

16-го я была у хирурга. У меня брали кровь и делали еще какие-то анализы. Андрей показал направление из министерства, но оказалось, что надо еще получить для госпитализации какое-то подтверждение из Городского отдела здравоохранения. Андрей получил его на следующий день. Меня назначили на госпитализацию на 26 февраля, и мы вернулись в Москву.

Вновь мы прилетели в Ленинград утром 25-го, и Наташа (Гессе) нас огорошила сообщением, что хирург просил мне передать, что он не сможет меня оперировать, так как иначе ему не утвердят докторскую диссертацию. Не знаю, было ли здесь вмешательство КГБ или только личный гипертрофированный страх этого доктора. В растерянности я позвонила Саше Раскину[24]. И буквально через час он перезвонил и сказал, что я должна позвонить нашему старому профессору Стучинскому,

который готов меня оперировать. Стучинский в тот же день осмотрел меня, глянул на результаты анализов, взял у Андрея направление и сказал, что завтра я должна лечь в районную больницу у Нарвских ворот (не помню ее номера).

27 февраля он меня оперировал. Андрей был неотступно все дни с раннего утра и до позднего вечера около меня до 4 марта, когда улетел в Москву на Общее собрание Академии.

В ночь с 7 на 8 марта (или с 6 на 7 — точно не помню), лежа в темной больничной палате, я слушала через наушник по своему «Панасонику» «Голос Америки». Читали «Письмо вождям Советского Союза» Александра Солженицына. С каждой новой фразой, произносимой диктором, во мне крепло ощущение необходимости Андрею ответить на это письмо. Но я опасалась, вдруг он скажет, что не хочет вступать в дискуссию с Солженицыным. Ведь он только-только выслан из страны. И семья еще здесь. И не ослабевшее восхищение Андрея мужеством и талантом Солженицына, несмотря на явную обиду, вызванную его непониманием мотивов многих действий и выступлений Андрея и нашей семейной ситуации. Да и мало ли что еще.

Утром 8-го Андрей, войдя в палату, вынул из одного кармана два еще теплых яйца, видимо, только что сваренных Зоечкой на Пушкинской. Из другого — отпечатанный на машинке текст письма Солженицына, а из третьего — несколько листков со своими тезисами ответа на это письмо. И все мои за ночь обдуманные аргументы отпали. Через два дня меня выписали из больницы. Печатать первый вариант письма я начала еще в Ленинграде. В середине марта мы вернулись в Москву и сразу попали на проводы Павла и Майи Литвиновых.

Потом пошла обычная московская текучка с почти ежедневными выступлениями Андрея в связи с обысками, арестами, положением политзаключенных в лагерях и ссылке. Наиболее важными Андрей считал обращение к президенту Индонезии Сухарто с призывом к политической амнистии, обращение к Верховному Совету СССР о свободе выбора страны проживания и выборе места проживания внутри страны и (главное!) статью «О письме Александра Солженицына вождям Советского Союза».

Эта работа не утратила своего значения и в новом тысячелетии, особенно в свете дискуссий о новом капитальном труде Александра Солженицына «Двести лет вместе» и в связи с лавинообразно возрождающимся великорусским национализмом и антисемитизмом.

В конце апреля или начале мая журнал «Саттердей ревью»

обратился к Андрею с просьбой написать для их юбилейного номера футурологическую статью (даже назначил гонорар в 500 долларов — впервые). Андрей загорелся этой идеей, говорил — хочу дать себе волю. Дома «воли» не было, верней, не было времени для «воли». И обоим очень хотелось отдохнуть от многолюдия, побыть вдвоем.

И мы уехали в Сухуми, бродили и ездили по окрестностям, ели где придется и что придется, а по вечерам ходили в кино (тоже на что придется) и писали «Мир через полвека». Собственно, писал Андрей, а я была техническим исполнителем. Идея этой статьи была не моей. И ни одной моей мысли в ней не было, кроме двух фраз в том месте, где автор пишет о ВИС (Всемирной информационной системе). Я, когда Андрей мне диктовал этот отрывок, возмутилась, потому что жить без музеев и не нуждаясь в книгах, только сведениями от этой ВИС, по-моему, просто стало бы скучно. В результате появился абзац о произведениях искусства и о книге: «Также сохранит свое значение книга, личная библиотека — именно потому, что они несут в себе результат личного индивидуального выбора, и в силу их красоты и традиционности в хорошем смысле этого слова».

Вскоре мы сбежали из Сухуми в Сочи. Наше инкогнито было там как-то раскрыто, и начались бесчисленные визиты к Андрею до этого неизвестных друзей и почитателей. В Сочи к нам прилетела Таня с сыном Матвеем (Мотей). Ей удалось купить курсовку в Мацесту для лечения мучившего ее с детства нейродермита. Мы жили вместе две недели, потом Андрей уехал в Москву на Общее собрание Академии (он их никогда не пропускал) и на какую-то научную конференцию. Хотя на юге мы все чувствовали себя хорошо, и жилось нам всем, включая начавшего ползать Мотю, легко и весело, мои глаза стали вести себя плохо. И по возвращении в Москву этот вопрос стал главным в семейном кругу, хотя и не заслонял того, что принято называть делами общественными.

Консультант в Академии считал, что необходима срочная операция, так как идет быстрое сужение поля зрения. Я сунулась к Краснову, который оперировал меня в 1965 году. Он почему-то от меня отказался. Потом была у Федорова и Кацнельсона — они тоже вначале говорили, что нужна операция, а при следующих посещениях находили какие-то противопоказания. Я пошла к моей институтской сокурснице Зое Разживиной в глазную больницу. Посмотрев меня, она сказала, что надо срочно оперировать. Она заведовала отделением опухолей глаз и глазницы, но сама договорилась с зав. другим отделением, и меня через несколько дней госпитализировали.

Это время было трудным для нас во многих отношениях. Сергей Ковалев, Татьяна Великанова и Татьяна Ходорович сделали заявление о том, что они берут на себя ответственность за продолжение издания «Хроники текущих событий», выход которой был прекращен после раскаяния Якира и Красина и в связи с угрозами КГБ за каждый новый номер журнала арестовывать кого-либо из сопричастных к ней людей. И мы очень волновались за судьбу двух Тань и Сергея.

Появились сообщения, что во Владимирской тюрьме тяжело болен Владимир Буковский. Там же объявил голодовку Валентин Мороз. Предстояли прощания с многолетним отказником, немцем Фридрихом Руппелем, судьбой которого Андрей занимался еще с 1969 года, и с Александром Галичем, который получил разрешение на эмиграцию. Его отъезд еще долго будет ощущаться как брешь в самом близком круге друзей. Выходим из концертного зала Чайковского. Напротив троллейбусная остановка — 10 минут езды до дома Саши. Андрей как бы про себя тихо говорит — а к Саше не поехать! Выбросили (советское слово времен продовольственного дефицита) эдамский сыр. Стоим в очереди, и Андрей вскользь замечает — а Саша любил эдамский сыр!

В конце июня в Москву с государственным визитом должен был прилететь Ричард Никсон. В связи с его приездом Андрей решил объявить голодовку с требованиями смягчения режима в лагерях, освобождения из Владимирской тюрьмы Буковского и Мороза и освобождения всех больных и женщин — политзаключенных. Это была его первая голодовка. Мы были неопытны во всем — и в медицинских аспектах подготовки к голодовке и выхода из нее, и в том, как следует сформулировать требования. Я позже поняла, что в этой голодовке была важная тактическая ошибка — нельзя предъявлять широкие неконкретные требования. Если хочешь добиться реального результата, то требования должны быть очень конкретны, максимально сужены. Но, соглашаясь со мной в этом, Андрей, в конечном счете, не считал эту голодовку ошибкой — она была важна как привлечение общественного внимания к проблеме и в этом смысле имела большое значение.

Голодовка началась 28 июня и продолжалась 6 дней. Я в это время была в глазной больнице. И Маша Подъяпольская для наблюдения за Андреем привела к нам в дом врача Веру Федоровну Ливчак, с которой мы все потом очень сблизились. В эти же дни тяжко заболела и умерла любимая тетя Андрея Евгения Александровна Олигер. Андрей в состоянии голодовки ездил на ее похороны. А я каждый день в халате убегала из

больницы и ехала домой, чтобы своими глазами увидеть, в каком он состоянии.

До голодовки Андрей каждый день навещал меня. И мы часами сидели в больничном садике, в который выходило окно нашей палаты. Обсуждали голодать — не голодать, обсуждали варианты письма, которое Андрей писал Брежневу и Никсону с призывом способствовать смягчению режима в лагерях и прекращению преследований за убеждения. Обсуждали и вновь обострившиеся отношения Андрея с его детьми. Я уже не помню, то ли Таня и Люба уже подали заявление в суд о разделе дачи, то ли только собирались это сделать.

Почти каждый день приходила моя Таня. Она с коляской, в которой сидел маленький Мотя, шла пешком по бульварному кольцу через пол-Москвы и уверяла, что ему очень нравятся такие долгие прогулки. Приходили друзья. И почти каждый день забегал Саша Галич, и мы с ним сидели на той же лавочке, что с Андреем, и при встрече и прощании целовались. В канун его отъезда 24 июня я пришла в палату с заплаканными глазами. Прощались, как тогда казалось, навсегда.

Приблизительно в те же дни, когда Андрей объявил о голодовке, в больнице беспричинно ввели карантин, но, дав рубль дежурной санитарке, я по-прежнему ездила на такси домой. Потом мне сменили лечащего врача. Им стал зам. главного врача больницы, и он мне сказал, что я назначена на операцию на ближайший вторник. Было это в четверг или в пятницу. В конце того же дня Зоя вызвала меня во двор и сказала, что я должна под любым предлогом уйти из больницы. Ее точные слова: «Мы не знаем, кто и что с тобой будут делать». А потом попросила меня больше с ней не общаться, говорила что-то о сыне, который должен поступать в вуз, и о муже — военном. Я видела, что ей говорить это страшно трудно, и успокоила ее словами, что все понимаю, из больницы уйду и с ней встречаться не буду. И больше я ее не видела. На следующий день я ушла из больницы таким же путем, как убегала домой все эти недели.

Если до разговора с Зоей мы не были полностью уверены, что все неурядицы с врачами связаны с КГБ, то теперь сомнений не было. И мы были в растерянности, что же теперь делать? Мама было заикнулась, что она позвонит Микояну[25]. В 1965 году, когда понадобилась моя первая глазная операция, она ему звонила. Тогда меня сразу положили в Кремлевку, и оперировал Краснов. Но Андрей на это сказал — тогда Люся была чуть ли не племянницей Микояна, а теперь она моя жена — большая разница.

Я не помню, у кого и как возникла мысль о заграница. Теперь,

через 30 лет, мне кажется, что мы не сами набрели на эту идею, но кто ее предложил, совершенно не помню.

В сентябре моя подруга Нина Харкевич прислала вызов. Вызовы прислали и Юра Меклер из Израиля и Таня Матон из Франции. Мы выбрали Италию, потому что Нина врач и знала многих офтальмологов, и не в последнюю очередь потому, что быть несколько месяцев вдалеке от дома с Ниной и Машей мне будет душевно легче, чем с кем-либо еще. Кроме своего личного вызова, Нина прислала приглашение от своего офтальмолога профессора Ренато Фреззотти. Он и стал моим лечащим врачом.

Так началась долгая и упорная борьба за мою поездку — почти год, в который я неуклонно и безвозвратно теряла зрение. Но жизнь состояла не только из этой борьбы. Июль и август мы провели на даче. Кто-то привез нам из Тюменской области, где жили в ссылке Боря и Люся Вайли, их сынишку. Диме уже было 6 лет. Забота о нем лежала на Тане, а он в свою очередь очень трогательно и заботливо относился к маленькому Моте и очень подружился с Андреем. Спустя полтора года Дима отважно выступил в его защиту. Учительница в школе объясняла маленьким второклассникам, какой злой старик и поджигатель войны Сахаров (по всей стране шли собрания, на которых осуждался Сахаров в связи с присуждением ему Нобелевской премии Мира). Дима встал перед всем классом и сказал: «Сахаров не старик, и он добрый». И на возражения учительницы ответил: «Я его знаю. Он мой друг». Это выступление Димы стоило его ссыльному отцу воспитательной беседы в местном КГБ.

В мае Андрею в Париже была присуждена премия Чино дель Дюка (Prix Mondial Cino del Duca 150 000 франков или порядка 25 000 долларов). Узнали мы об этом гораздо позже, видимо, в июле. Пришел Лева Копелев и сказал об этом. Несколько позже через кого-то были переданы формальные бумаги. И Андрей часть денег отдал мне (письмом в Фонд) для создания Фонда помощи детям политзаключенных.

Я решила обратиться к жене П.Л. Капицы, чтобы она возглавила Фонд, и в начале сентября мы с Андреем были у них в их городском доме. Это была моя вторая (первая была на их даче, когда мы собирали подписи под Обращениями об амнистии и отмене смертной казни) и последняя встреча с ними. Анна Алексеевна категорически отказалась. Тогда я предложила как бы компромиссный вариант, чтобы Фонд возглавила одна из ее невесток, но и это предложение не было принято. Но мы довольно долго были у них. Нас пригласили к ужину.

Петр Леонидович с удовольствием показывал картины и рассказывал какие-то байки о разных ученых, из которых я знала

только одно имя — М.А. Леонтовича. Конечно, я была в какой-то мере ошарашена домом-дворцом, начиная с парадной лестницы дворцового типа и кончая картинами. Я подобных домов в частном владении никогда не видела.

Больше никаких шагов к тому, чтобы Фонд возглавила какая-нибудь женщина из советской элиты, я не предпринимала. Я как-то сразу поняла, что из этого ничего не выйдет.

Я предложила Нине Харкевич и Анне-Марии Бёлль стать вместе со мной сопредседателями Фонда. Они сразу согласились. Нина договорилась с банком Ротшильда, куда были положены деньги, и банк выделил одного из своих сотрудников месье Гаре ведать деньгами Фонда.

Нина в Италии, Анне-Мария в Германии, Таня Матон во Франции и я дома через корреспондентов сделали заявление о Фонде, и он начал функционировать и благополучно выжил и работал до конца горбачевской эры и времени бархатных революций.

В «Воспоминаниях» Сахаров пишет: «По договоренности с банком деньги переводились по переданному туда списку непосредственно женам политзаключенных, имевших детей. К началу 1976 года такие переводы стали невозможными… но и Фонд был в значительной степени исчерпан». Это ошибка памяти Сахарова. С 1976 года Внешторгбанк не запретил такие переводы, но резко повысил налог с получателей переводов. Несмотря на это Фонд продолжал функционировать на прежней основе, хотя меня несколько раз сотрудники других фондов упрекали, что собираемый с наших получательниц налог подпитывает советскую власть. Но я не хотела, чтобы кто-то из директоров Фонда или я сама имели прямое отношение к деньгам.

Рема все свободное от работы время проводил в каких-то самиздатских делах, размножал фотоспособом «Архипелаг ГУЛАГ», «Прощай, Каталония», еще что-то, часто общался с Сергеем Ковалевым и Таней Великановой. Позже мы узнали (не помню от кого и не знаю никаких подробностей), что на его имя сняли квартиру, где делали «Хронику». Андрей был этим огорчен. Он считал, что нашу семью не следует связывать ни с чем, что делается тайно.

Алеша почти все лето отсутствовал, был в студенческом отряде, где-то на Северном Кавказе, потом в байдарочном походе. И вернувшись, объявил, что женится. Мы — мама, я и Андрей были в шоке. Только-только летом ему исполнилось 18 лет. Но с таким решением нельзя бороться. Его надо принимать. В ноябре он и Оля Левшина поженились.

А Андрей в сентябре попал в больницу. Когда мы пришли с вечерней прогулки, он пожаловался на боли в животе. Я посмотрела его и говорю: «У тебя аппендицит, такой явный, прямо, что называется, студенческий. И надо вызвать „скорую“ и в больницу». А он стал меня убеждать, что это у него хроническая дизентерия. Когда и кто ему внушил про хроническую дизентерию, не знаю. За три года, что он жил в нашем доме, никаких ее признаков не было. От «скорой» Андрей категорически отказался, и мы на такси поехали в академическую больницу. В приемном покое его продержали часа три. В чем-то сомневались, кому-то звонили. Кого-то вызывали. Наконец взяли в операционную. Я курила на лестничной площадке, когда из операционного блока вышла женщина (потом я узнала, что это была зав. хирургическим отделением) и стала мне говорить: «Какая вы умница. Ведь у него уже флегмонозный аппендицит, еще немного и было бы поздно». Оперировали Андрея в ночь с 13 на 14-е. Не надо думать, что у меня такая острая память. Просто на второй день прибежала с вытаращенными глазами моя Таня и рассказала, что была в Беляеве на выставке, которая вошла в историю изобразительного искусства под названием «Бульдозерной». И еще в каком-то разговоре с еще не вставшим с постели Андреем я вдруг выяснила, что он не читал «По ком звонит колокол». Теперь как-то смешно об этом вспоминать, но тогда это меня потрясло. И в тот же день Володя Тольц (мне кажется, тоже потрясенный «Как? Не читал? Не может быть!») принес книгу Андрею.

За лето и осень было опубликовано большое число небольших документов Андрея в защиту отдельных людей — в это время было много арестов среди немцев и ходатайств о прописке в Крыму лиц крымско-татарской национальности (термин не мой, а официальный). Такие мелкие документы обычно писала я, а Андрей только подписывал. Из своих документов этого времени он считал важным письмо Курту Вальдхайму о положении иракских курдов.

30 октября по предложению политзаключенных нескольких лагерей прошел первый день политзаключенных. Идея была высказана Кронидом Любарским и кем-то из «самолетчиков» (не помню, Мурженко или Федоровым). Проводили его у нас дома. Для этого пришлось маму переселить на кухню, а из ее комнаты всю мебель мужики (Рема и Алеша) вытащили на лестницу. И мы немного беспокоились, как бы ее там не растащили. Пришло очень много корреспондентов и много наших — жен и друзей заключенных. С этого года отмечать этот день стало традицией, и кроме одного (или двух?) раза это всегда проходило у нас в доме.

Последний в доперестроечную эру день политзаключенного я проводила одна 30 октября 1982 года, специально в этот день приехав из Горького. Во всей Москве не нашлось тогда никого, кто бы был моим подельником в этом предприятии. Корреспондентов ко мне в квартиру не допустили (у дверей квартиры стояли три миллиционера), я «принимала» их на улице и передала им несколько документов. Какие — не помню, но, наверно, где-то они имеются (не только в КГБ).

В ноябре у нас был и провел несколько часов в беседе с Андреем американский сенатор Джеймс Бакли.

Но сразу после его ухода Андрей стал сожалеть, что какие-то значимые вещи не сказал, что-то важное выразил неточно. И я предложила ему написать Бакли открытое письмо, не торопясь обстоятельно закрепить все на бумаге. Письмо к Бакли, которое постепенно переросло в книгу «О стране и мире», Андрей начал писать через пару недель, но отвлекаясь на многие повседневные правозащитные и семейные заботы.

Вскоре в Москву прибыла делегация американских ученых, периодически обсуждавших проблемы разоружения с такой же комиссией советских (предполагается — независимых!) ученых. Несколько человек из этой комиссии вечером пришли к нам. Это были молодые и, как мне показалось, веселые люди. Мы ужинали в тесноте на нашей кухне, они (думаю, вполне искренне) хвалили мою стряпню и вели серьезный разговор с Андреем, в котором я не все понимала. Когда мы провожали их по набережной к гостинице «Россия», кто-то из них стал петь, и нас вполне могли принять за подгулявшую компанию.

И еще в это время мы несколько раз ездили в студию к Борису Биргеру, и он писал наш двойной портрет. Это было какое-то отвлечение, выход не просто в другой дом, но в другой мир. Андрею нравилось, что будет портрет, нравились разговоры с Борей, в которых было некое пересечение с его прошлым. В студенческие годы Андрей знал сестру Бориса. Нравились наши чаепития с моей ватрушкой после сеанса позирования.

Ноябрь и декабрь были очень тревожны из-за усилившегося внимания КГБ к Сергею Ковалеву. Примерно 25 декабря мы вынули из почтового ящика письмо, в котором была вырезка из газеты «Известия», сообщающая об обсуждении в Конгрессе США поправки Джексона, и короткий текст, напечатанный на машинке. В нем было сказано: «Если вы не прекратите своей деятельности, мы примем свои меры. Начнем мы с небезызвестных Вам Янкелевичей — старшего и младшего». Это говорилось о Ефреме и о полуторагодовалом Мотиньке. Получать подобные письма

более чем просто неприятно, и мы не могли отнестись к нему несерьезно.

Вечером 27-го пришел Сергей Ковалев. Днем он был на допросе и должен был наутро снова идти на допрос. Пришел голодный. Я спросила, хочет ли он горячего супчика. Сказал: «Дай напоследок щец похлебать». Мы все понимали, что он может с допроса и не вернуться. Он очень хотел написать ответ на это письмо с угрозами. Начал мне диктовать, но ничего не получалось, время шло, и он решил ехать домой. Сказал — надо же и дома побывать. Прощались в передней, и все понимали, что не на день или два — надолго.

Было в конце этого года еще одно дело, свершив которое мы были очень горды, что сумели с ним справиться. Однажды пришел Володя Войнович и написал, что он на три дня у какой-то близкой автору женщины (имя не назвал) достал рукопись конфискованной книги Василия Гроссмана «Жизнь и судьба». И надо за этот срок в полной тайне сделать копию с рукописи и переслать ее на Запад. Я вначале растерялась, но, подумав, сказала, что мы это сделаем. Ефрем в это время еще не лишился работы — уезжал рано утром. Возвращался почти ночью, так как работал на рыборазводной станции далеко за городом. Он в такой срок сделать этого не мог. Поэтому я позвала Андрея Твердохлебова. Он взял у своего отчима Б.Г. Закса хороший фотоаппарат и закупил химикалии и пленки. Мы объявили всем, что уезжаем, и на три дня закрылись в доме. Завесили маминым пледом окошко между ванной и уборной. За этот плед, испорченный гвоздями, она меня потом слегка упрекнула. Я приспособила лампу-рефлектор к спинке стула, и мы почти без сна с перерывом только на обед и ужин занялись фотографированием. Мой Андрей снимал, я подкладывала страницы. Мама следила за тем, чтобы не пропустить ни одного листа, и еще успевала кое-что читать, а Андрей Твердохлебов проявлял и сушил пленки в ванной комнате. Получилось около 40 пленок, которые я через свою связную — француженку — переслала Володе Максимову. Мы получили подтверждение — в № 5 «Континента» были опубликованы отрывки из романа, но нас (особенно Андрея) огорчило, что Максимов изменил его название. И Андрей в какой-то записке упрекнул Володю за это. Через некоторое время по радио «Свобода» сказали, что пришедшие на Запад пленки не очень профессиональны, есть страницы с обрезанным краем, и приходилось восстанавливать текст, да много и других неполадок, однако несмотря на них радиостанция начинает регулярное чтение романа. И мы сочли, что вернули жизнь этой великой книге. Но Володя Войнович, судя

по его письму, не согласен со мной, и в его рассказе все выглядит несколько по-другому.

Полный текст е-майл 17 апреля 2004 года мне от В. Войновича:

> «Дорогая Люся! Вот тебе вкратце полная история того, как рукопись попала ко мне и что было дальше. По-моему, это было в конце 74-го года, но дату можно проверить по другому событию, а именно по времени выхода в свет солженицынского сборника „Из-под глыб“ (ниже понятно будет почему). Как-то в нашем дворе (Черняховского, 4) ко мне подошел Семен Израилевич Липкин и начал издалека: „Нет ли у вас возможности передать на Запад одну рукопись, это рукопись не моя, но очень интересная…“ Я перебил: „Гроссман?“ Он сказал: „Да“. Я знал, что Липкин дружил с Гроссманом, и по каким-то признакам догадывался, что он мог быть хранителем „Жизни и судьбы“. Я рукопись взял, но что делать дальше? Надо было быстро и качественно перефотографировать, но кто мог бы это сделать? Я позвал к себе Игоря Хохлушкина, надеясь, что он человек надежный. Очень ошибся. Хохлушкин пришел, сделал несколько кадров и убежал, сказав, что у него пресс-конференция по поводу „Глыб“, коих он был одним из участников. На другой день опять сделал несколько кадров и сказал, что срочно едет за город, вернется на следующей неделе и тогда… Я был в некотором ужасе. Я понимал, что если ГБ пронюхает про рукопись, они тут же за ней придут. Я Хохлушкину не мог не сказать, что за рукопись, а теперь боялся, что он проболтается, тем более что к роману он отнесся с явным пренебрежением. Я решил переснять текст сам своим „Зенитом“ и сделал это, понимая, что хорошего качества тут не будет. После этого стал думать, кто и где мог бы сделать дубль. Кто — я так и не придумал, а где — я решил, что из диссидентских домов надежнее вашего нет. Взял в поводыри Корнилова и пришел к вам. После этого на Запад попали две пленки: одна моя, другая ваша. Я стал ждать результата. В 5-м номере „Континента“ появились отдельные, плохо выбранные, отрывки. И все. Я не понимал, в чем дело. Потом до меня дошло, что обе пленки попали к Максимову, причем Горбаневская утверждала, что на пленках разные тексты и плохо

читаются. Но, как я потом понял, никто их прочесть особо и не старался. Максимову роман не понравился. Горбаневской — тоже. Максимов послал роман с кислой припиской Профферу, но тот тоже интереса не проявил. Я ничего этого не знал и четыре года ждал появления романа, но не дождался. Тогда, в 1979 году, я попросил Липкина дать мне рукопись снова, нашел ленинградского самиздатчика Владимира Сандлера (он сейчас живет в Нью-Йорке), и тот на замечательной самодельной аппаратуре и наилучшим образом переснял текст. После этого я позвал к себе свою знакомую, австрийскую славистку Розмари Циглер, в ее надежности у меня сомнений не было. Я объяснил ей, в чем дело, сказал, что это выдающийся роман, который надо не только передать на Запад, но и найти издателя. В этот раз рукопись перевез на Запад австрийский атташе по культуре Йохан Марте. Он передал ее Эткинду и Симе Маркишу, а те расшифровали пленку и напечатали книгу в издательстве „Ляш Дом“. Вот и все.

Засим, дорогая Люсенька, желаю тебе всяких благ и возможности на вопросы о здоровье и делах, хотя бы отвечать, что не плохо. Привет Танечке. Володя».

Я же думаю, что мы оба правы — и он спасал роман Гроссмана, и мы. Тот вариант, который впервые прозвучал по радио «Свобода», был определенно наш, уж очень непрофессионально он был сделан, со многими огрехами. И отрывок из романа, опубликованный в «Континенте», был явно из нашего фотоварианта. А окончательный — книжный вариант, видимо, был Владимира Войновича.

Год 1975

Арест Сергея не был неожиданным, но очень тревожным сигналом для большого круга людей, не только тех, чьи имена были известны как диссидентские и в СССР, и за рубежом благодаря западному радио. У нас в семье для всех это был еще и личный удар. Особенно трудно переживал этот арест Ефрем. Он относился к Сергею и как к старшему товарищу, и, в какой-то мере, хотя по натуре он человек сдержанный, как к кумиру. К Андрею при глубоком уважении и просто привязанности Ефрем относился спокойней, наверно, под влиянием повседневного общения и домашней среды.

После Нового года Ефрем взял отпуск и с Мотей уехал к своей маме в подмосковный поселок Петрово-Дальнее. Мы боялись за Таню, которая с маленьким ребенком остается одна в Новогирееве. Ефрем с утра уезжал на работу и возвращался поздно, он работал далеко за городом на научной станции какого-то рыборазводного хозяйства. В Петрово-Дальнем, когда он вечером выносил мусор, к нему подошли три мужика и сказали — если Сахаров не прекратит своей деятельности, будешь валяться на этой помойке — и ты, и твой сын.

В один из визитов к нам Шафаревича (Комитет уже незаметно прекратил свою деятельность, и такие визиты стали редкими) Андрей рассказал ему об этой угрозе. И Шафаревич ответил фразой, которую мы все запомнили на всю жизнь: «Андрей Дмитриевич, ну что вы так волнуетесь, ведь это не ваши дети».

В конце предыдущего года Таня вновь подала заявление о восстановлении в университет и неожиданно для всех была восстановлена. Приблизительно в это же время Алеша подал заявление в университет о переводе его из педагогического ин-та с досдачей каких-то предметов. Через несколько дней Андрею позвонил новый ректор университета Рем Хохлов и сказал, что он вынужден (он подчеркнул это слово) отказать Семенову, так как он находится под влиянием Сахарова и, хотя его академические успехи отличные, но он не комсомолец. И каким-то начальством, стоящим над ректором университета, это воспринимается как отрицательное влияние Сахарова. Андрей поблагодарил Хохлова за звонок и сказал, что предпочитает откровенность неопределенности.

В феврале в Москву приехали Генрих и Анне-Мария Бёлли. Они навестили нас в Жуковке вместе с Костей Богатыревым и Борисом Биргером. Общались в основном через Костю, но иногда

Андрей пытался говорить по-немецки и сокрушался, что непростительно забыл язык.

Разговор шел о немецкой эмиграции, о том, как жестоко преследуют в СССР немцев, желающих эмигрировать — в последние годы появилось много немцев — узников совести. Генрих вначале разговора считал, что немцы зря стремятся в Германию. Ему столь многое не нравилось в своей стране, что он, казалось, готов был считать, что в СССР лучше. Может, это сказывались какие-то давние социалистические иллюзии. Но под влиянием фактов и примеров разных судеб, о которых говорил Андрей, сделал вывод: «У нас жить трудно, у вас — невозможно».

Все время начиная с сентября или октября 1974 года, когда я подала документы на поездку в Италию, Андрей регулярно звонил в ОВИР и вел переговоры с начальством разных уровней. И ему постоянно говорили, что ответ будет позже. В конце марта меня вызвали в ОВИР и дали официальный отказ. Я не помню, сразу или через какое-то время мы решили объявить трехдневную голодовку в дни, когда отмечалось 30-летие Победы.

7 мая мы сделали заявление об этом, а 8-го утром (был первый день голодовки) к нам домой явился специальный курьер и вручил Андрею письмо из Министерства здравоохранения СССР. В письме говорилось, что мне могут предоставить помощь в любом лечебном учреждении страны. Могут по моему желанию пригласить специалиста из-за рубежа за счет министерства. Также было сказано, что они ждут ответа с этим курьером. Отвечать Андрей отказался, и мы отголодали три дня. И снова Андрей регулярно звонил в ОВИР, и ему говорили, чтобы позвонил вновь через несколько дней. Это уже стало немного рутинным занятием, а я регулярно ездила в поликлинику, и мне то ставили пиявки (наружная сторона лба и сбоку от глаза — очень неприятно), то назначали какие-то инъекции, но глазное давление не снижалось, а неуклонно шло вверх.

Мы переехали на дачу, и Андрей по совету кого-то из друзей (кажется, Юры Тувина?) решил начать бегать трусцой. Именно тогда увлечение бегом дошло до нашей страны. Вначале у него все шло хорошо, и он, видимо, резко увеличил нагрузку. Произошел сердечный приступ, и его уложили в постель с неопределенным диагнозом — микроинфаркт или нелокальное нарушение коронарного кровообращения. Лежал он на веранде и в полулежачем состоянии кончал писать «О стране и мире».

Все это делалось при постельном режиме Андрея. Советская медицина (в частности кардиология) тогда была чрезмерно увлечена пользой постельного режима. Маленький Мотя огорчался, что диде Аде (так он называл Андрея) нельзя гулять,

часто подбегал к нему, клал головку на его ноги и сочувственно говорил: «Ну нисиво, дидя Адя, нисиво». Мы с Андреем это «нисиво» потом говорили друг другу в самые трудные наши дни.

Таня в это время писала диплом и готовилась одновременно к государственным экзаменам и к рождению второго ребенка. Андрей вызвался ей помогать в самом трудном для нее предмете — философии (марксистско-ленинской). Главной установкой в его преподавании было: «Забудь все, что я когда-либо говорил, и что ты у меня читала».

В конце июля на дачу позвонила дама из ОВИРа. К телефону попросила меня, хотя обычно все переговоры с этим учреждением вел Андрей. Она сказала, что в визе мне отказано. Я очень грубо ей отвечала и даже употребила слова, которые теперь характеризуют как ненормативную лексику. Мама слышала этот разговор и была мной возмущена. Андрей, тоже слышавший, воспринял мой стиль общения с ОВИРом спокойней. Вечером мы обсуждали, что теперь делать и, ничего не придумав, легли спать соответственно поговорке «утро вечера мудренее». В середине следующего дня позвонила та же дама и сладким голосом просила меня срочно приехать в ОВИР для получения разрешения на поездку. На мое возражение, что я не успею до конца рабочего дня, она сказала, что это не имеет значения. Меня будут ждать.

И действительно ждали. У входа меня встретила та же дама и под ручку (я все время пыталась отстраниться) провела на второй этаж, где мне все с той же преувеличенной любезностью сообщили, что, заплатив пошлину, я могу уже на следующий день получить паспорт. При этом какой-то присутствующий в кабинете человек явно кагэбэшного вида сказал, что я должна помнить, что моего мужа ко мне не выпустят никогда. На что я резко ответила, что я и без него это знаю, а быть невозвращенкой не собираюсь. Через четверть часа (от ОВИРа до нашего дома две трамвайные остановки) я позвонила на дачу. Оказалось, им уже звонят корреспонденты, кто-то (КГБ) сообщил в одно из западных агентств, что я получила разрешение. Мы купили билет на 6 августа на поезд Москва — Париж и Париж — Флоренция, так как глазное давление было за 60 и врач считала, что при таком давлении лететь самолетом нельзя — перепад атмосферного давления при подъеме и посадке самолета может создать новые глазные осложнения.

А 6-го тяжко заболел Мотя. Утром Мотя играл один на крыльце, пока мы все завтракали, и вдруг со страшным криком вбежал к нам. Он показывал на ротик, но объяснить ничего не умел. А спустя несколько часов начались эти судороги. А днем внезапно резко и критически высоко поднялась температура. Он

жаловался на боль в голове, потом начались судороги конечностей. Алешке удалось поймать большую машину, из тех, что возят высокое начальство (в народе их называют членовозами), и уже в городе судороги у Моти перешли в тяжелый общий судорожный статус. Врачу «скорой помощи» не удалось их снять. И Мотю в бессознательном состоянии под вой сирены увезли в больницу. Мой билет кто-то сдал. А мы пережили страшную (в моей жизни, может быть, самую страшную) ночь. А что пережили Ефрем и Таня, которая была на 9-м месяце беременности, даже сказать трудно. Они эту ночь провели у Веры Федоровны, которая жила вблизи больницы, а мы были втроем дома. Маме я дала большую дозу снотворного, и она уснула. Я, не раздеваясь, лежала около телефона на кухонном топчанчике. А Андрей всю ночь как маятник молча ходил взад-вперед по коридору.

Утром мы все были в больнице. К нам в приемный покой спустился врач из реанимации и сказал, что ребенок Янкелевич в сознании, и они надеются, что он будет жить, но они не знают, что это было — возможно, отравление неизвестным им токсином. А мы как не знали тогда, так и не знаем до сих пор. Но Андрей твердо считал, что Мотю отравили, и, как во многих других случаях, подтверждения этой его убежденности или возможности ее опровергнуть у нас нет. И тогда же в приемном покое Андрей сказал мне: «Они должны уехать». Я вначале его не поняла, и он очень жестко добавил: «Эмигрировать». Так это слово прозвучало впервые.

Все разговоры (а позже и хлопоты) об окончании образования ребят за границей к этому времени были нами забыты. И были они о поездке, и, соответственно, о возвращении, а не об эмиграции. Таня окончила университет, получила «корочки» — некий обязательный минимум для будущего. Ефрем работал. Алеша хоть и не в университете, но учился и находил возможность подзарабатывать — давал уроки десятиклассникам и мыл по вечерам троллейбусы. И они с Олей ждали первого ребенка.

Мотя был еще в больнице, когда я (кажется, 16 августа) уехала из Москвы. Почти сразу по приезде во Флоренцию я поехала в Сиену к своему будущему врачу профессору Ренато Фреззотти, и через несколько дней он и его ассистент доктор Рафаэлло Бонанни оперировали меня в клинике «Salus». В клинике я получила телеграмму, что Таня родила Анечку. После больницы я неделю провела у Иры и Моми Строцци, имение которых «Гузона» находится недалеко от Сиены. Ира ежедневно не только возила меня на осмотр к Фреззотти, но и устроила

роскошный прием для моих врачей и друзей.

Я расплатилась с клиникой. Счет оказался меньше, чем я предполагала, потому что оба моих врача и анестезиолог отказались от своих гонораров. Вообще-то в Италии я могла лечиться бесплатно согласно какому-то соглашению между СССР и Италией. Но мы с Андреем еще в Москве решили, что я буду за все платить, чтобы никакая коммунистическая пресса не могла сказать, что я лечусь на деньги итальянских налогоплательщиков. И я вернулась во Флоренцию.

Все это время, хоть иногда и с перебоями, была телефонная связь с Москвой. И в эти дни я наконец получила первые письма от Андрея.

> «7 сентября (точней 8-го, 2 часа ночи) Милая моя Люсинька! Получили от тебя две весточки с дороги, потом из Парижа от Пай, и сегодня из Флоренции с „Давидом“ на площади Синьории, а также пришли твои телеграммы Тане и нам. Вчера говорил с Машей и надеюсь в среду позвонить прямо тебе. Итак, Таня родила, у тебя прошла операция, и вроде — хорошо. Наконец, могу начать писать тебе — до сих пор удерживало какое-то суеверное чувство. Кроме сегодняшнего дня, по утрам гуляю с Мотей в сквере напротив. Он улыбчив и в то же время соблюдает достоинство, солидность. Стал хорошо играть в футбол. Дома крутит приемник, много играет и рисует сам. Сегодня нарисовал „маму“ и „Ану“ — нечто вроде ворот и закорючку. Пришел из больницы со зверским аппетитом (Руфь Григорьевна вспоминает Алешу после Морозовской[26]а). Но этот аппетит, видимо, его подвел — вчера он переел винограда, сегодня весь день болел животик, и поднялась температурка до 37,2—37,3. Врач, посланная Машей и одобренная Верой Федоровной, сделала ему клизму. Но и вообще он еще не вполне здоров, по вечерам 37,1—37,2 каждый вечер. Надеюсь, что это „просто так“ и пройдет само. Таня на какое-то время задерживается в роддоме, так как у нее инфильтрат от инъекций фолликулина. Конечно, все это неприятно. (Завтра после трех дней отпуска на работу выходит Люся Меднис[27] и обещает принять энергичные меры.)
>
> Рема дважды видел девочку — Таня на первом этаже

и показывала в окно. Рема застенчиво улыбается и говорит — очень смешная, нос, как у Таньки, глаза голубые, подбородок, как у него. Девица закричала сразу при рождении, сосет хорошо — 6 раз в день. Я все эти дни под впечатлением твоей операции (как и Руфь Григорьевна). Но отличие ситуации от ленинградской полтора года назад настраивает меня на более спокойный лад, которого не смогло даже нарушить известное тебе от Володи и Маши ложное подлое сообщение (я сразу догадался, кто автор). Я все время воображаю, как ты лежишь (до вчерашнего дня с повязкой) и думаешь, думаешь. Скучаю, конечно, как и ты — ужасно. Известие от Маши, что следующая операция возможна не раньше, чем через 6 месяцев, ставит в тупик. Но пока, я думаю, не надо даже в уме предрешать способ действий, уже через месяц тебе будет многое видней. Квартирные дела висят в воздухе. Правда, приехавший на днях Михаил Александрович [академик М.А. Леонтович] обещает свою поддержку, и я надеюсь… (я — оптимист). Сегодня были Алеша и Оля, оба худые. Алеша 9-го кончает свою работу, от картошки его со скрипом, к счастью, освободили. Он говорит, что если я буду учиться водить машину, чтобы имел в виду и его. 9-го впервые в этом году иду на семинар. Руфь Григорьевна на ногах, хлопочет возле Моти, ночью встает несколько раз, пуще всего боится, как бы не забрала Томар[28]. (Та все время об этом говорит со всеми последствиями). Пришло приглашение (мне и тебе) на юбилей АН в конверте с золотой каемочкой. Между прочим, в Ленинград я не поеду, хватит с меня и московских церемоний — увы, без тебя. Мои медицинские дела вроде улучшаются. Профессор Сыркин снял все лекарства, кроме сустака 2+2, и разрешил большую активность, болей нет. Марина поступила в английскую школу, у Любы миозит, Юра в очень возбужденном состоянии — вот, кажется, и все новости. Завтра вместе с этим письмом посылаю пятую бандероль с „Беломором“ — эти визиты на почту создают иллюзию какого-то участия в твоих делах. Очень хорошо, что вокруг тебя много друзей. Между прочим, Маша сказала, что Юра [Меклер] читает тебе Лермонтова. Я очень рад. Когда ты приедешь, надо как-то ухитриться разбавить „безумную“ жизнь обыкновенной, человеческой, мы имеем на это право. Мотя и Аня (если ребята не

передумают с именем) помогут нам в этом. Я так мечтаю об этом всем, о наших с тобой поездках, о выходах в концерт, кино, ЦДЛ и т.п. Кончая письмо, волнуюсь. Целую тебя. Твой Андрей. P.S. от 8 сент. Сегодня были с Руфь Григорьевной у Тани. Завтра ее выписывают, инфильтрат рассасывается. Она худая, оживленная, была очень рада. Показала в окно Аню (это имя окончательное). Мы с Руфь Григорьевной независимо решили, что девочка — боннэровская по общему типу лица, хотя есть черты от папы (цвет глаз, подбородок) и нос, как у мамы (это еще не совсем ясно). Девочка хмурилась и щурилась на свет, вела себя очень мило. Волосики совсем темные. Только что звонил Боря Биргер, передает поздравления от себя и Наташи. У Моти днем 37,2, живот еще не совсем в порядке, но он ходит по дому, вытянул чемоданчик с фотографиями и с восторгом их перебирал. Конечно, всех узнает, а себя как-то называет — передать затрудняюсь. Маша сказала звонить тебе не раньше среды, но сегодня позвонила Нина и сказала, ты уже ждешь. Заказал на сегодня. Целую тебя. И чтоб все было хорошо! P.S.2 Завтра вторая примерка костюмов и пальто[29] — на той неделе еще не были готовы. Доверенность твоя еще мне не понадобилась — странно. Приветы тебе передают Райские, Евгений Львович и еще очень многие.»

«Милая моя Люсенька!… Не хотелось писать о сегодняшнем, тем более что письма идут долго и есть более быстрая связь. Я, было, весь задрожал, когда позвонил какой-то подонок „от Володи“…, но через минуту понял, чьих рук дело. А вскоре через Альфреда поступило подтверждение моей догадки. Какая все же подлость.

Итак, Таня родила дочку, Матюша дома, у тебя прошла операция. Роды Любы и Оли все же еще не скоро, надеюсь, письмо дойдет раньше. Девочка закричала сразу же при рождении, она не переношенная, глазки голубые. Таня говорит, что она не такая красивая, как Мотинька».

Пять недель после операции я жила внутренне очень спокойно. Операция прошла хорошо. Из Москвы шли письма —

тоже спокойные, пронизанные радостью появления у Тани в семье второго младенца. Писал мне в основном Андрей, и письма по почте приходили нормально — через 5—6 дней. А иногда Андрей посылал их с оказией, и тогда я получала их на второй-третий день. А еще Андрей регулярно посылал мне «Беломор» (я тогда не курила сигарет) и наш советский краснодарский чай. Он очень полюбился всем моим итальянским друзьям. Иногда мне удавалось прозвониться в Москву. А иногда и Андрей дозванивался до меня. Я со своим почти полным незнанием итальянского языка смогла (не без помощи Нины) подружиться со старшим оператором смены на международной телефонной службе Италии. Это был молодой коммунист синьор Кальвани. И при его содействии, хоть и нерегулярно, но осуществлялась телефонная связь. Когда перед моим отлетом из Италии в Норвегию начались сложности с советским посольством и связь перестали давать, он в знак протеста, что не дают разговаривать мужу с женой, вышел из компартии.

После 20 сентября мои доктора отпустили меня на вольную жизнь. А 2 октября я провела в доме Маши Олсуфьевой и ее мужа Марко Михаеллеса большую пресс-конференцию, посвященную выходу в свет в Италии и в США (в других странах несколько позже) книги Сахарова «О стране и мире». Она была столь интернациональна, что потребовались три переводчика. Маша переводила на итальянский язык, Нина на немецкий, а Куки (дочь Маши) на английский.

Эта пресс-конференция привлекла большое внимание. Наши норвежские друзья (в частности Виктор Спарре, который был на ней и потом рассказал о ней председателю Нобелевского комитета Норвежского Стортинга Аасе Лионас), говорили, что она имела значение для решения Комитета о премии 1975 года.

Я также знала, что осенью 1974 года в Осло в Нобелевском институте выступал Жорес Медведев и выражал сомнения в правомерности присуждения премии Мира Андрею Сахарову — в Москве в самиздате ходили материалы об ответе Солженицына на это выступление Медведева. И в 1975 году, как и в 1974-м, я не думала, что кандидатура Сахарова рассматривается серьезно. Знала только, что в третий или четвертый раз он внесен в список кандидатов, которых, кажется, в этот год было несколько десятков. Но не в первый раз думала про Медведева, ну что это он так суетится?

Сообщение из Осло о присуждении 9 октября Нобелевской премии Мира за 1975 год Андрею Сахарову и телеграмма в Москву Андрею за подписью Аасе Лионас и Тима Греве были отправлены в 16.58. По радио и на ТВ это сообщение прозвучало

вскоре после 5 часов вечера. К оптику, у которого я сидела и примеривала линзы, позвонила Нина и сообщила мне об этом. Она сказала, что у подъезда дома толпа корреспондентов и они требуют немедленной пресс-конференции. Мы решили, что она пошлет их в русскую церковь, туда же приедут она и Маша, и там во дворе мы проведем встречу с прессой. Я сразу пошла на телеграф и дала телеграмму в Москву: «Милый поздравляю тебя всех друзей целую твоя Люся». На телеграмме время отправки — 18.00). Потом, взяв такси, поехала в церковь. Пресс-конференция началась в 18.15.

Андрея это известие застало у Юры Тувина. Они с мамой поехали к нему на яблочный пирог. Туда Копелев, Войнович и приятель Войновича привезли корреспондентов. Так получилось, что наши пресс-конференции совпали и по времени (учитывая 2 часа разницы между Москвой и Флоренцией), и по содержанию. Лев Копелев записал, что говорил Андрей, и поставил время 8 часов 15 минут.

> «Я надеюсь, что это будет хорошо для политзаключенных в нашей стране. Надеюсь, что это поддержит ту борьбу за права человека, в которой я принимаю участие. Я считаю присуждение премии не столько признанием моих заслуг, сколько заслуг всех тех, кто борется за права человека, за гласность, за свободу убеждений, и в особенности тех, кто заплатил за это такой дорогой ценой, как лишение свободы. Я надеюсь, что сейчас — в период разрядки, присуждение этой премии человеку, который не полностью разделяет официальную точку зрения, не будет рассматриваться как вызов этой официальной позиции, а будет воспринят как проявление духа терпимости и широты, того духа, который должен составлять непременную часть процесса разрядки. В последние месяцы, исходя именно из этой точки зрения, я неоднократно призывал к амнистии политзаключенных, и сейчас, узнав о присуждении мне Нобелевской премии Мира, я хочу еще раз повторить этот призыв. И разумеется, я испытываю чувство большой благодарности к норвежскому парламенту».

Телеграмма из Москвы 10 октября (черновик)

> «Nobel committee Oslo Norway

Благодарю за присуждение мне Нобелевской премии Мира Надеюсь что это поможет отстаивать права человека в нашей стране Андрей Сахаров».

Так началась наша «нобелевская страда» — у Андрея в Москве, у меня в Италии. Поздравления, на которые нельзя не отвечать, телефонные и личные интервью, пресс-конференции, заявления, на порядок увеличившееся число посещений знакомых и незнакомых людей.

Письмо без даты, но, видимо, 12 или 13 октября:

«Милая Люсенька! Посылаю тебе эту записочку через двух очень хороших американок, они много нам помогают и хотели бы тебя увидеть. Я сегодня получил от тебя письмо очень хорошее, написанное вскоре после выезда из больницы (на мерседесе), мне стало так тепло на душе, когда я читал его. И стыдно, что я за два месяца из-за неорганизованности и из-за того, что телефон всегда оказывается гораздо быстрей, написал только одно — в начале сентября. Сейчас у меня, как и тебя, форменное столпотворение, не наделать бы глупостей (мне). Ты у меня умница. Тебя мы все с удовольствием слушали, твое интервью. Все сказали, что оно очень хорошее. Скоро наш пятилетний юбилей, 20 октября[30]. Пять лет настоящей жизни. Я очень тебя люблю, очень тебе благодарен. У нас все хорошо в семье. Аня умная девочка. Мотя вообще-то избаловался немного, но к Ане относится с гордостью, всем ее показывает и волнуется, когда она плачет, часто сам сует ей бутылочку. Оля еще в больнице, в среду должна выйти с дочкой.[31] Плохо с Лидой Финкельштейн, у нее почти наверное самое худшее, гинекологическая онкология, ее переводят из 67 больницы в Институт Герцена. Целую тебя. Очень скучаю. Твой Андрей. P.S. Мы с Алешей учимся водить машину.»

Я упорно настаивала на том, что Андрей должен получить водительские права. Когда Андрей получил в подарок от государства ЗИМ, у него появилась такая мысль. Но толпа доброжелателей уговорила его, что он к этому не способен, ему будет трудно, и это ему не нужно, так как всегда есть (и будет)

казенный водитель. Меня такой подход возмущал. Но действительно, когда начались занятия с инструктором, Андрей проявил не очень большие способности. Ему пришлось взять вместо обязательных 24 часов вождения 86. (На подготовку соответственно ушло больше времени и денег — и все). Но водил он после этого до конца жизни без серьезных происшествий. Однажды инструктор в отсутствие Андрея спросил у моей мамы: «Это ваш сын?» — «Нет — зять» — «Ну тогда скажу. Очень тупой человек, вот мальчик ничего, способный, а зять ваш — тупой». Мы потом долго смеялись над этой оценкой Андрея.

Когда чуть схлынуло напряжение первых дней, в которые интервью и пресс-конференции следовали одна за другой, и я с трудом выкраивала время для продолжения своих оптических упражнений, Маша передала мне два письма. Одно было от Николаса Бетелла. Он присутствовал на пресс-конференции 2 октября и опубликовал о ней большую статью в Лондоне. В это письмо была вложена копия письма к нему от Жореса Медведева — его реакция на статью Бетелла — и Николас просил Машу ознакомить меня с ним. Адресатом второго письма, которое было также от Жореса, была сама Маша. Оно было написано значительно раньше, и она получила его еще до моего приезда в Италию.

В письме Бетеллу Жорес сомневался в правдивости того, что я говорила на пресс-конференции. Утверждал, что я все преувеличиваю — и тяжесть положения заключенных в лагерях, и усиление преследований по политическим мотивам, и продолжающиеся психиатрические репрессии, и особенно сложности нашей жизни. Он писал:

> «Телефонная часть также преувеличена. Во всяком случае, Чалидзе часто и свободно говорит с ним — Сахаровым из США и получает заявления по телефону. Я также говорил с ним менее чем год назад. Думаю, и сейчас соединят. Можете попробовать (лучше вечером или в субботу). Я звонил ему как раз в период его голодовки, и не было помех. Сам Сахаров прикреплен к кремлевской клинике и больнице, и в периоды нездоровья ему не имеют права отказать ни в этой больнице, ни в академической. К этим же больницам прикреплена и Сахарова. Я не думаю, что ее отказались бы лечить в этих клиниках. Она в основном говорит о своих попытках „частного“ лечения, т.к. не доверяет официальному. Ее внук, насколько мне известно, был

болен ангиной — и я вряд ли поверил бы в то, что его кто-то хотел отравить. Случаев подобного рода не было ни с кем».

Второе письмо Маша передала мне с некоторым смущением. Мне показалось, что ей неприятна дружеская тональность письма, которую, как она сказала, она ничем не заслужила. Один раз ее пригласили переводить какое-то выступление Жореса, что она профессионально и сделала. А не показывала она мне это письмо раньше, потому что ей не хотелось меня огорчать. Собственно, письмо небольшое — около страницы, там что- то о статье в «Unita», о гонораре Дудинцева и о летнем отдыхе супругов Медведевых.

Но в нем есть пространный постскриптум, ради которого, видимо, оно и было написано:

> «По-видимому (*так в письме. — Е.Б.*) жена Сахарова должна скоро приехать в Италию. Если она захочет мне позвонить (в чем я сомневаюсь), то мой домашний телефон Лондон 9597968. Она уже два раза покупала билет и должна была лететь, но откладывала из-за болезни внука и дочери. Возможно, она вообще боится этой поездки и операции. У нее, кроме всего прочего, гипертиреоз и потому сильная возбудимость и некоторая истеричность. Если она будет жить у вас, то вам будет не очень легко. У них есть довольно большая сумма в США — порядка 40 тысяч долларов — гонорары за прежние издания и за книгу „Sakharov speaks“, а с авансом за новую книгу, очевидно, эта сумма еще возросла. Поэтому она сможет все расходы оплачивать из собственных средств. Это я сообщаю Вам просто для того, чтобы Вы по русской „доброте не относились к ней как к бедному диссиденту“ (*я так и не поняла, почему эти слова взяты в кавычки! — Е.Б.*) и были готовы к разным капризам и т. п. при ее весьма тяжелом характере. Сообщения о том, что она почти ослепла, сильно преувеличены — во всяком случае в театры она ходит и красоту Флоренции сможет оценить вполне. С приветом. Ваш Жорес 15 августа 1975».

Прочитав эти письма, я сгоряча хотела на них ответить, но скоро остыла, поняв, что это бессмысленно.

Как бы ни относиться к выступлениям Жореса Медведева осенью 1974 года в Норвегии (или в Швеции?) о правомерности

присуждения премии Мира Андрею Сахарову, но это все-таки была дискуссия общественного характера. А эти письма демонстрировали осведомленность в наших частных семейных (в том числе и финансовых) делах, которая обычно свойственна сыскным органам — неважно, что сведения преподносились нарочито ложные. Все это на другой день мне стало уже неинтересно. Интересно только было бы узнать, откуда Жорес брал эти свои, так сказать, сведения, но возможностей для этого у меня не было.

Когда, вернувшись в Москву, я показала эти письма Андрею, он сказал, что упоминание о том, что у Моти была ангина, только подтверждает его уверенность, что ребенка пытались отравить. И Жорес говорит неправду, что он звонил Андрею во время летней голодовки 1974 года. А потом еще добавил, что Жорес прекрасно знал, что Андрея отлучили от кремлевской медицины после того, как он вступился в 1970 году за него — Жореса Медведева, помещенного тогда в психиатрическую больницу. И еще показал мне открытку от Жореса, отправленную из Лондона после письма Маше в августе и Николасу в октябре, но уже после присуждения премии Мира. «Дорогой Андрей Дмитриевич! Сердечно поздравляю с присуждением премии. Желаю здоровья и бодрости и всего лучшего. Привет всем друзьям. Ваш Жорес Медведев». Вот такой круговорот даже не знаю чего — этической глухоты? Какой-то глубокой корково-подкорковой патологии? Или верности службе (добровольному прислуживанию?) в органах?

Я так подробно описала эту эпистолярную историю, потому что она стала началом многолетней желто-оранжевой клеветы обо мне в советской и постсоветской прессе. В данном случае Жорес Медведев оказался действительно основоположником.

В той же книге братьев Медведевых «Два пророка» (О Солженицыне и Сахарове), на которую я ссылалась в связи с письмами Жореса Медведева 1973 года, Рой Медведев пишет:

> «О жизни А.Д. Сахарова в квартире на улице Чкалова есть много воспоминаний людей, которые бывали здесь гораздо чаще, чем я. Мне приходилось позднее читать восторженные отзывы по поводу скромности и непритязательности Сахарова, которого телефонные звонки будили подчас в шесть часов утра, который подогревал огурцы и помидоры на крышке чайника. После ухода гостей Сахаров сам мыл или, верней, перемывал всю посуду. Я тоже видел все это. Но у меня подобные картины вызывали лишь сожаление. Просто

> Сахарову был нужен нормальный горячий ужин, а есть из грязных тарелок он не мог. Елена Георгиевна Боннэр обладала многими достоинствами как подруга и соратник Сахарова, но ее трудно было назвать спокойной и мягкой женщиной, внимательной женой и хорошей хозяйкой. Даже ее дочь Татьяна иногда при гостях разговаривала с академиком с раздражением, а то и грубо. Елена Георгиевна принимала живое участие во всех моих разговорах с Сахаровым, причем была обычно более активна, чем он сам, не останавливаясь и перед весьма резкими выражениями. В этих случаях Сахаров лишь нежно уговаривал свою жену „Успокойся, успокойся“. Елена Георгиевна крайне неприязненно говорила о Валерии Чалидзе, и в этом проглядывала явная ревность. Комитет прав человека еще работал, а Сахаров был просто очень привязан к Валерию, который в новый дом академика на улице Чкалова не приезжал. Это привело вскоре к публичному конфликту, о котором Сахаров позднее очень сожалел. В конце 1972 года Андрей Дмитриевич дважды вместе с женой приезжал ко мне домой, чтобы познакомить меня с тем или иным документом, в частности с обращением к Верховному Совету СССР об отмене смертной казни».

Не вижу, чем это (несмотря на реверансы про подругу и соратницу) отличается от писаний Н.Н. Яковлева, получившего за свой труд пощечину лично от Андрея Дмитриевича Сахарова. Я видела Р. Медведева три раза в жизни (не считая ТВ). Первый раз на дне рождения Андрея Дмитриевича. Второй раз, придя с работы, застала у себя дома на кухне разговаривающим с Андреем. Я в разговоре участия не принимала, кажется, сразу ушла в комнаты. В третий раз у него дома летом 1972 года, когда мы собирали подписи. Ни о Чалидзе, ни о ком другом с ним ни разу не говорила. А какая я жена и хозяйка, и чистые ли у меня чашки и кастрюли, хорошая ли я кухарка, судить только мужу (или тем, «которые бывали здесь гораздо чаще») И при чем в этом тексте моя дочь, которая вообще никогда с ним не встречалась?

20 октября Андрей подал документы в ОВИР для поездки в Осло. Он был почти уверен, что не получит разрешения, но считал этот шаг необходимым проявлением уважения к решению Нобелевского комитета. В начале ноября по итальянскому ТВ прошло сообщение со ссылкой на Виктора Луи, что Сахаров получит разрешение на поездку. Я, кажется, впервые в жизни поверила — наверно, очень хотелось. Была я в тот день в Риме и с

помощью Лии Вайнштейн пошла заказывать Андрею смокинг. Многие берут напрокат, но мне хотелось, чтобы у него был свой. А 14 ноября его вызвали в ОВИР и сообщили об отказе. И мы с Лией снова пошли к мастеру просить, если нельзя отменить заказ, то вместо смокинга сшить мне костюм. Так возник костюм, в котором я потом представляла Андрея на Нобелевской церемонии. Потом я отдала его Тане, когда она в 1977 году покидала Россию. И советские таможенники залили вещи в ее чемодане, в том числе и этот костюм, несмываемой красной, имитирующей кровь краской. Вот такая была побочная маленькая эпопея.

Андрей считал, что Нобелевская церемония, несмотря на то что ему не дали визы, все равно должна состояться, и что представлять на ней его буду я. Я была с ним согласна. Он сообщил о своем решении в Нобелевский комитет, и комитет в своем пресс-релизе объявил о нем. После этого сообщения российские газеты, в которых шла оголтелая антисахаровская кампания, переключились на меня. В газете «Труд» появился фельетон «Хроника великосветской жизни».

Советское посольство в Италии тоже зашевелилось. Пока я была в Риме, к Нине домой неожиданно пришел некто Пахомов из консульства и попросил у нее мой паспорт. На что он рассчитывал? На то, что Нина, итальянка по рождению, не ориентирована в том, что происходит в СССР? Рассчитывал на испуг, не учитывая, что Нина хоть и человек русский, но не советский? Нина попросила его оставить ее дом, так как она его не приглашала, но как бы вскользь заметила, что сеньора Боннэр очень заботливо относится к своему паспорту и держит его в банке. А после его ухода поехала в банк Стенхойзлина (ее банк в течение всех послевоенных лет) и действительно оставила там на хранение мой паспорт. Только, защитив так паспорт, она позвонила мне — я жила в Риме у сестры Маши Аси Бузири-Вичи.

Через день или два тот же Пахомов позвонил Нине и попросил к телефону меня. Нина сказала, что меня нет во Флоренции. Он сказал, что должен со мной переговорить, и спросил мой телефон. Нина ответила, что давать мой телефон она не уполномочена, но, если он скажет, куда ему позвонить, она мне передаст его телефон. Я позвонила, но не в тот же день, а на следующий. Он попросил меня немедленно прийти в консульство. Я сказала, что могу прийти не раньше чем завтра, сегодня я занята. Я считала (и продолжаю считать), что если есть возможность, КГБ надо дать немного остыть.

К этому дню в газетах уже появилось сообщение о его

бесцеремонном визите к Нине. Я пришла с одним корреспондентом и с одним из своих друзей. На проходной у меня попросили паспорт. Я сказала, что его у меня нет. Дежурный позвонил куда-то и передал мне трубку. На проводе опять был Пахомов. Он попытался меня стращать итальянской полицией, сказал что сообщит, что я путешествую по стране без документов. Я сказала — нет, с документом. У меня есть соджорно[32] и, если он хочет меня видеть, то пусть сочтет этот документ достаточным для нашего свидания. Так я оказалась на территории консульства и в его кабинете.

Разговор наш был малосодержательным. Он показал на стопу советских газет, лежащих на его столе. Спросил, знаю ли я, что обо мне пишут. Я ответила, что меня не интересует, что пишут ваши газеты. Он ухватился за слово ВАШИ и сказал, что я, значит, уже не чувствую себя советским человеком. Я ответила, что советским человеком я давным-давно себя не чувствую, но это не значит, что я думаю жить в какой-нибудь другой стране. Потом он спросил, собираюсь ли я в Норвегию. Я ответила — конечно. Больше из разговора я ничего не помню. Но у меня сложилось впечатление, что вся эта история с паспортом была попыткой испугать меня и тем самым изменить решение Андрея. Утром о моем визите в консульство сообщили все итальянские газеты. Больше в этот приезд в Италию Пахомов в контакт со мной не входил.

А я в этот же вечер рассказала всю эту историю Андрею. Я не знала, что дома в связи с решением Андрея поручить мне участие в Нобелевской церемонии шли жестокие споры. И не представляла, что мой рассказ еще более их обострит. Через день я вернулась во Флоренцию. Неожиданно поздним вечером Андрей позвонил мне и каким-то тусклым голосом сказал, что он передумал и не хочет, чтобы я ехала в Норвегию. Я поняла, что дома что-то произошло, и единственно что сказала: «По-моему, ты не прав. Но решать тебе, и я не хочу тебя уговаривать». Нина из своей комнаты слышала наш разговор и по тому, что он был необычно коротким, и по моему голосу поняла, что произошло что-то серьезное. Я пересказала ей разговор, и мы еще долго, прежде чем уснуть, гадали, что же там случилось? В пятом часу утра меня разбудил телефонный звонок. И Андрей, явно волнуясь, стал говорить: «Люсенька, прости меня, я был не прав и чуть не совершил непростительную ошибку. Ты должна ехать, и завтра я тебе все напишу».

Через день корреспондентка одной из итальянских газет привезла мне письма от Андрея и от мамы. Эти два письма настолько разительно отличались, что если б не было последнего

ночного разговора с Андреем, я не знала бы вообще, что я должна делать. Первым я прочла письмо мамы:

«19 ноября. Люся! „Ленты, кружева, ботинки, что угодно для души“ — твои подарки прелестны и могли бы порадовать всех твоих чад, если бы не души, полные тревог и боли из-за перевернутых жизней твоих детей и нежелания учитывать их подлинные интересы. Подумай, что ты им готовишь в будущем и весьма близком. Мы живем плохо. Помимо созданных вами обоими тревог, я и Таня с детьми безвыездно на даче вдвоем. У Тани катастрофическое состояние рук (правая рука с повязками на трех пальцах), доктор звонит и настаивает на лечении, грозит „ужасными последствиями“. Выезд даже на амбулаторное лечение труден, даже невозможен. Мне не управиться весь день с детьми. Обе квартиры в том же разобранном состоянии, как были при тебе, верней еще хуже. Когда это терпелось ради твоего лечения, можно было перетерпеть, но во имя чего ты решаешься обрекать своих детей и внуков на длительные горести дальше? Что это — тщеславие, близорукость, жертвенность? На какую победу кого и чего вы рассчитываете и добиваетесь? Что, кроме зловредного бума и шума, и кому это даст? Основная победа будет испорчена всем этим будущим потоком клеветы и гадостей. Прошу тебя, я и твои дети также, брось всю эту возню и приезжай домой. От меня уже почти ничего не осталось. Я буквально на последнем издыхании, да и А.Д. сильно сдал — живет в городе совершенно беспризорным. У Алеши в семье в связи с вами тоже много недоумения и недовольств. Подумай, подумай. Мы всех, всех и тебя целуем. Мама».

И письмо Андрея:

«Милая Люсинька! Только что сказал Руфь Григорьевне, что я поручил тебе получение премии. Она сказала, что я поступил подло, что я тешу свое самолюбие и гублю тебя и детей, на которых все обрушится, и что тебя теперь не пустят. Таня и Алеша тоже считают, что этого не следовало делать из соображений скромности и приличия и отчасти —

безопасности с твоим возвращением. Но я и сейчас не раскаиваюсь, хотя решение было для меня трудным. В СССР такое решение даст возможность усилить клевету. Но на Западе оно по своему резонансу самое сильное, совершенно естественно (а обратное было бы странным). Кроме того (самое главное), это единственно возможное для меня. Нет человека, который был бы моим вторым я, кроме тебя. Рема на моей стороне.[33] Об опасности, что тебя не пустят после Осло, я не думаю. Я чувствую, какой груз ты на себе несешь все эти недели. И тебе теперь придется еще нести его, и мы еще будем вдали друг от друга. Но такие вещи бывают раз в жизни. И это много больше чем самолюбие, все что происходит — какой-то символ. На самом деле, я очень горжусь тобой, я чувствую, что ты очень личность, и по-моему, это чувствуют многие. Но самое главное — все это необходимо не для нас, для всех. Люсинька, милая, очень тебя люблю. Сейчас на даче Анна-Мария, вчера во вторник она привезла кучу вещей.[34] Глобус, который привез Леви[35] — будет украшать дом и еще перейдет к пра- пра- пра- внукам как непременная часть души дома. И у нас должен быть дом, мы — ты это заслужили. Будет ли покой — другой вопрос, вероятно, нет. Мотя, Аня очень меня радуют. Мотя очень хороший человек, крайне доброжелательный к людям, очень любит меня, по-моему, даже как-то не по-детски. И он умный, тонкий (хотя и безумно упрямый). Он обожает сестру, совсем не ревнует, прижимает ее ножки страстно к щекам и целует, говоря с придыханием Анна, Анна! Стал говорить „Да“ на все вопросы и „Ай“ (вместо нет). Надо кончать, Анна-Мари спешит. Целую, целую тебя. Очень скучаю, все время думаю. Твой Андрей».

Только получив эти письма, я поняла, как трудно живется без меня моей семье. И как сложно развиваются отношения между моими близкими после присуждения премии. А я об этом как-то не думала прошедшие два месяца. Таня с двумя младенцами на руках — одному два года, и он только что после тяжкой болезни. Другой меньше 2-х месяцев. Мама с ее болезнью и почти без сил тоже на Тане. И послеродовое обострение нейродермита, мучившего ее с раннего детства. Рема, разрывающийся между работой, помощью Тане и работой на Андрея — он всегда этим был загружен, но в эти месяцы в этом в какой-то мере подменял и

меня. Алеша, у которого учеба, уроки для заработка и жена с новорожденной Катенькой (она родилась 6 октября).

И Андрей с его почти абсолютной уверенностью, что болезнь Моти не была случайностью, с волнениями от угроз Ефрему.

И никакой помощи. Только, когда Андрей и Ефрем в городе, Маня или Циля приносили им какую-нибудь еду — две немолодые больные женщины, совсем не диссиденты. И конечно, для всей семьи неимоверная психологическая нагрузка — газетная кампания, перешедшая с Сахарова на меня, и история с охотой Пахомова за моим паспортом. Безусловно, все это представлялось им реальной угрозой.

А кроме того, я думаю, что Андрей и в силу своих характеристических особенностей, и по каким-то другим обстоятельствам не сумел многого объяснить маме, над которой довлел совсем другой, чем у него, жизненный опыт. Таня и Алеша и в силу воспитания, и жизненной установки противостоять бабушке не могли. А окружающие (в том числе и диссидентское сообщество) пугали рассуждениями, что меня не пустят назад в страну.

Все это я поняла позже, а тогда письмо мамы вызвало у меня раздражение и даже злость, так что мне какое-то время было трудно ей писать и разговаривать с ней по телефону. Мы-то (я и Андрей и, видимо, Ефрем) понимали, что власти не пойдут на создание разделенной семьи Сахарова, но и никогда не выпустят Сахарова из страны. Значит я, находясь на Западе, абсолютно свободна. Но то, что эта свобода на родине обернется потоком клеветы на меня и грязи (тут мама была совершенно права), я понимала всегда, а тогда училась с этим жить.

А вообще вранья вокруг поручения мне представлять Андрея на Нобелевской церемонии было много уже тогда (пущено КГБ или разными Медведевыми и иже с ними). Некоторые байки живы по сю пору. В своей программе «Страсти по Нобелю» Евгений Киселев добавил к ним еще одну, что Сахаров хотел поручить это Александру Галичу, но я вроде как помешала. Однако у Андрея, кроме меня, никого и в мыслях не было, а Галича именно я пригласила быть моим гостем на церемонии в Осло.

Но уже тогда я понимала, что наш случай не аналогичен солженицынскому.

А именно его приводили как пример те люди в диссидентских и околодиссидентских кругах, кто считал неправильным решение Андрея мне представлять его на нобелевской церемонии. Думаю, Солженицына власти отпустили бы на церемонию и, возможно, потом лишили бы гражданства, но семью к нему выпустили бы. Но, если он не хотел покидать

Россию, то его решение не ехать на Нобелевскую церемонию было абсолютно правильным.

Все это было умом понятно и мне, и Андрею. Но это не значит, что сердцем каждый из нас не ощущал тревоги. Мне кажется, она ощущается и в письме Андрея, которое я привела выше, и в том, как он отменил свое решение, а позже, после очень значимого разговора с Ефремом, вернулся к нему. А ведь всего этого могло не быть, если б наши власти отпустили меня на лечение на полгода раньше. Вот такая судьбоносная ошибка властей (опять так любимое Андреем слово «судьба») привела к тому, что радость от праздника Нобелевской церемонии вместе с нами и нашими близкими ощутили многие тысячи (или миллионы?) людей во всем мире.

У меня сохранился черновик письма Андрея в Нобелевский комитет — без даты и подписи, но с правкой рукой Андрея.

> «Нобелевскому Комитету Норвежского парламента
> Открытое письмо
>
> Я глубоко благодарен Нобелевскому Комитету за присуждение мне премии Мира 1975 года.
>
> Я считаю своим почетным долгом прибыть в Осло на Нобелевскую церемонию и принять в ней участие. К сожалению, власти моей страны отказали мне в этой поездке, используя в качестве предлога мою осведомленность в военно-государственных секретах. Я продолжаю считать, что положительное решение о поездке весьма важно для подкрепления разрядки, а возможные опасения властей могут быть легко устранены. Но учитывая сложившуюся ситуацию, я считаю необходимым обратиться к Нобелевскому Комитету со следующим заявлением.
>
> Я поручаю моей жене, Боннэр Елене Георгиевне, представлять меня на церемонии вручения Нобелевской премии Мира 1975 года и прошу Нобелевский Комитет рассматривать ее в качестве моего доверенного лица. На протяжении всех последних лет в значительной мере именно ее самоотверженная поддержка и помощь, зачастую ее инициатива, наше взаимопонимание сделали возможной мою общественную деятельность, ныне удостоенную столь высокой награды.
>
> Я поручаю моей жене разослать приглашения гостям Нобелевской церемонии, проживающим за границей. Со

своей стороны я приглашаю принять участие в церемонии глубоко уважаемых мною Валентина Турчина (Москва), Юрия Орлова (Москва), Андрея Твердохлебова (арестован 18 апреля 1975 года, Лефортовский следственный изолятор, Москва), Сергея Ковалева (арестован 27 декабря 1974 года, следственный изолятор, г. Вильнюс).

С глубокой благодарностью и уважением. Андрей Сахаров»

Андрей послал приглашения всем, кого назвал в своем письме Нобелевскому комитету. А я пригласила Сашу Галича, Володю Максимова, Вику Некрасова, Франтишека Яноуха и Валерия Чалидзе. И по подсказке Валерия пригласила Боба и Эллен Бернстайнов и Джилл и Эда Клайнов. За эту подсказку я благодарна Валерию на всю оставшуюся жизнь. Джилл и Эд с первой встречи в Осло (и по сей день) стали моими и всей моей семьи самыми близкими друзьями. Также моими гостями в Осло были Нина и Маша, мой доктор Ренато Фреззотти и его жена Анджела.

Утром 9 декабря мы вылетели в Осло. На пересадке в Копенгагене я купила Андрею часы, которые он носил много лет, и безумно дорогую булавку для галстука от Картье, которую он почти не носил — стеснялся, хотя неоднократно до этого говорил, что мечтает о булавке. Он называл ее как в старину на немецкий манер «кроват-галстух».

Прилетели мы в 4 часа дня. Встречали нас — меня — Аасе Лионас, Тим Греве и толпа корреспондентов. В аэропорту была первая пресс-конференция. Потом отель. По традиции лауреат (а в данном случае я) и его гости живут в Гранд-отеле. Лауреат всегда в одном и том же трехкомнатном номере. Я очень волновалась, что у меня на руках нет лекции. Тим сказал, что я получу ее вечером после обеда, который дает для меня (без моих гостей) Нобелевский комитет.

Обед был в 7 часов вечера. Что ела, не помню. Ужасно смущало и вызывало напряжение, что переводчик сидел не за столом, а сзади меня. Это было в моей жизни впервые. Казалось — он голоден. Потом попривыкла к тому, что на таких обедах всегда так. Разглядывала почти до неприличия членов комитета, стараясь угадать, кто из них голосовал за Андрея, а кто против. Разгадать не могла. Все были приветливы, улыбчивы, весело говорили о предстоящей церемонии.

А я думала — сижу в этом зале, уже по-новогоднему украшенном и с елкой. Жую что-то вроде бы очень вкусное (оказалось — оленина). А Андрей с Ремкой трясутся в поезде по дороге в Вильнюс на суд Сережи Ковалева. И Андрей, как всегда в поезде, не спит, мается, думает и про меня (это радостно), и про Сергея (это больше чем грустно, это на краю отчаяния), которому светит по максимуму, значит, 7 лет несвободы. Это ж только наша советская власть могла удуматься назначить суд на день Нобелевской церемонии. Назло лауреату и всем нам? Или назло самой себе?

После обеда Тим проводил меня до моего номера и передал мне нобелевскую речь Андрея, с которой он уже сделал копию для переводчика. Оказывается, она только в этот день пришла в Осло с дипломатической почтой. Вечером я прочла ее. Увидела, что печатал ее Ефрем. Речь мне понравилась, но я боялась сбиться на произношении и в ударениях на фамилиях заключенных, которых Андрей перечисляет. А потом до 3 часов ночи учила наизусть нобелевское выступление. Я не хотела читать его по бумаге.

На следующий день в 12 часов меня повезли на церемонию. До ее начала меня представили королю Олафу, принцу Харалду и принцессе Соне.

В 13 часов 15 минут началась сама церемония. Но до этого произошла маленькая запинка. Мне сказали, что на кресло лауреата (оно традиционно определенное) они поставят портрет Андрея и положат цветы, а я буду сидеть рядом. Ну нет, это будет похоже на похороны. Я сяду на это место, а портрет и цветы они могут поставить на подиум рядом с кафедрой. Позже Аасе говорила, что сказала я это так, что она поняла: спорить со мной нет смысла. И меня провели к креслу лауреата. Кто-то из вездесущих репортеров слышал этот разговор, и он уже вечером фигурировал в газетах и радионовостях. А я во время минутного пререкания поняла, что не всему в регламенте надо подчиняться, главное — быть самой собой. И когда, после того как Аасе прочла решение комитета, я поднялась на подиум и сказала первые слова: «Ваше Величество, Ваши Высочества, Ваши превосходительства, дамы и господа!» (главное было не сбиться и не перепутать очередность Величеств, Высочеств и превосходительств и кто из них в единственном, а кто во множественном числе), я уже знала, что с Нобелевской церемонией я справлюсь.

Вечером — в 19.30 был обед, который давал Нобелевский комитет. Приветственную речь произнес председатель Стортинга Норвегии Бернт Ингвалдсен. Это была подробная характеристика

личности и общественной деятельности Сахарова, точная, но не сухая, а эмоциональная. А еще он говорил о Великом терроре в Советском Союзе и прочел несколько строф из «Реквиема» Ахматовой. Потом была моя очередь. О том, что мне придется говорить на обеде, Тим сказал мне за несколько минут до входа в обеденный зал. Видимо, у них там было обсуждение, заменяю ли я лауреата и в обеденном зале или только в зале церемонии. Ведь здесь уже речь должна быть не лауреата, а моя собственная. И я внутренне не была готова к этому выступлению. Но речь Ингвальдсена и несколько знакомых ахматовских строк, прочитанных им, были для меня как дружеская рука.

Первой своей фразой я поставила в тупик Машу, которая меня переводила. Я начала словами: «В моей стране входит в традицию, когда мужики не справляются или почему-то не могут сами сделать свое дело, то на помощь они кличут своих баб. На бабах воевали, на бабах пахали, теперь бабу мужик послал премию получать». И остановилась, чтобы Маша перевела. А она на меня уставилась и говорит: «Я не знаю, как перевести слово БАБЫ, каким словом заменить твоих БАБ?»

И у нас возникла маленькая перебранка, потому что я отвергла и ее женщин, и ее дам. И зал, в котором было несколько человек, знающих русский, включился в этот спор, началась как бы игра. Это как-то сразу сняло официозность. И мне уже дальше было легко говорить. И весь обед, и кофе, который подавали не за столом, а в трех уютных гостиных, до конца шел в атмосфере непринужденности и всеобщей игры.

По окончании обеда около 10 часов вечера в городе было факельное шествие. Оно было выражением одобрения народом Норвегии решения Нобелевского комитета. Молодые говорили, что это второй раз в истории — первое факельное шествие было в 1964 году в честь Мартина Лютера Кинга. А пожилые люди утверждали, что первое было в1935 году в честь Карла фон Осецкого, находившегося в то время в немецком концлагере, но оно было совсем немногочисленным.

Я стояла на балконе одна. Смотрела на поток людей внизу, на трепещущее от ветра пламя факелов, на портреты Андрея и плакаты «Сахаров — хороший человек», а иногда лаконичней «Андрей — хороший человек» и плакала от обиды, что он этого не видит.

А ночью был телефонный разговор с Москвой. У меня в номере были два норвежских корреспондента, Саша Галич, внук Нансена, Маша и Тим. Тим вообще оставлял меня только ночью, был и постоянным советчиком, и моим боди-гард, позже я узнала, что норвежцы всерьез опасались каких-либо провокаций и даже

покушений, но не хотели это афишировать.

Дома у телефона была Таня. Ее первые слова были: «Мама, пиши!». И она стала диктовать мне то, что ей передал Ефрем из Вильнюса о ходе суда над Ковалевым. Разговор несколько раз прерывался детским плачем. Я спросила, что там у нее? И она сказала, бабушка лежит, ей не очень хорошо, Мотя капризничает и не спит, а Аню я сейчас кормлю и ей не нравится, что я отвлекаюсь на разговор, но ничего, ты только не волнуйся — это она меня успокаивала.

Маша слушала разговор по второму аппарату и сразу переводила его другим. Они были поражены, что для Тани в разговоре главным было успеть сообщить о Вильнюсе и что она даже не спросила о церемонии. Я их успокоила, что церемонию она наверно между стиркой пеленок и кормлениями маленькой слышала по радио. А суд хоть и с противоположным знаком для нас, действительно, не менее важен, чем нобелевские торжества. Наутро весь этот разговор был в норвежских газетах.

Следующий день был еще более напряженным. В том же зале, где была нобелевская церемония, в 11 утра началась пресс-конференция. Она была рассчитана на два часа, но продлилась почти три. Более полутысячи человек, ушлых и профессиональных, буквально рвали меня на части. Да еще с трех сторон слепили софиты телевизионщиков, так что только спина была от них защищена. Спрашивали обо всем — совсем как в песне «а из зала мне кричат — давай подробности».

Эта пресс-конференция была целиком опубликована во многих европейских и американских газетах, и через много лет часть эпизодов из нее вошли в обвинительное заключение, а потом и в приговор, когда меня судили в Горьком в августе 1984 года. Оказалось, правда о нарушении прав человека в СССР не имеет срока давности. Интересно, что при этом ни в обвинении, ни в ходе суда не упоминалось, что в Осло я представляла Андрея, произносила его вступительное слово (они ж не знали, что его писала я), читала его Нобелевскую лекцию. Получалось, если не знать предысторию, что я ни с того ни с сего приехала в Норвегию «клеветать» на советскую власть. Mea culpa и все тут.

После пресс-конференции Тим Греве повез меня и Нину в банк, где я передала чек, врученный мне на Нобелевской церемонии — 630 000 норвежских крон (несколько больше 100 000 долларов). Теперь Нобелевская премия значительно перевалила за миллион долларов (в 2003 году $ 1 300 000), так что с финансовой стороны можно пожалеть, что Андрей получил премию слишком рано. И в банке я оставила доверенность на Нину — она в течение нескольких последующих лет была нашим

кассиром. Потом, уже по возвращении в гостиницу, Нина оформляла груду счетов за авиабилеты мне и моим гостям, за их пребывание в Гранд-отеле, еще за что-то. А покончив с этой работой, ужаснулась и сказала, что мы — я — уже протрясла чуть не четверть премии, и что Андрей ей как нашему бухгалтеру оторвет за это голову. Я ее успокоила, что не оторвет, ведь мы все на него работаем, а за работу, как известно, надо платить.

В 7 вечера в актовом зале университета я читала Нобелевскую лекцию. Думала, это просто — читать написанный текст, к тому же уже знакомый до последней запятой. Но оказалось, что напряжение и в этом случае было не меньшим, чем утром во время пресс-конференции. Когда я читала имена наших политзаключенных, и почти за каждым именем виделся знакомый мне человек, а если не он, то его мать, жена, дети, я почувствовала, что мне трудно сдерживать слезы. Наверно, это ощутил и зал. Тишина в зале стояла такая совершенная, как будто кто-то незримый объявил минуту молчания. И нарушал ее только мой собственный голос.

Утром следующего дня завтракали вместе Галич, Максимов, Некрасов и я. Потом они улетали в Париж. Внезапно Саша снял часы и сказал — это маме, потом снял галстук — это Реме, запонки — Алешке, потом снял с себя вязаную кофту — Андрею. И много лет Андрей носил эту кофту, называл галичевской, а я ее штопала, и за штопкой всегда неотвратимо на память приходил этот наш прощальный завтрак.

Почти сразу вслед за парижанами улетали домой мои итальянцы, и, надо сказать, я в момент прощания если не испугалась, то несколько растерялась от мысли, что теперь мне придется обходиться без постоянной помощи и просто ежедневного, ежечасного общения с Ниной и Машей. Ведь прошедшие четыре месяца были такие напряженные и сложные, что их с полным основанием можно считать как время на фронте — один день за три.

13 декабря я вместе с Клайнами и Бернстайнами улетала в Париж. Там наши пути расходились — им лететь через Атлантический океан, мне в Москву. Как в одной довоенной еще песне. «На Запад поедет один из нас, на Дальний Восток другой». Недавно, когда в доме Эда Клайна отмечалось мое 80-летие, Боб Бернстайн (когда-то рыжий, а теперь совсем седой) вспомнил наш последний вечер. Я разгулялась, стряхнув с себя напряжение нобелевских дней, и обратилась ко всей компании с призывом: «Даешь ночной Париж!». Эд Клайн с опаской поглядел на меня, однако все согласились. И мы поехали в Лидо, где шло что-то невыносимо помпезное с водопадом и живыми слонами на сцене,

потом на Монмартр и еще куда-то, так что, прилетев в Москву, я по праву могла сказать — Париж я видела.

Пока шел таможенный досмотр, Мотя из-за загородки все время кричал восторженно: «Баба Леля, баба Леля», а у меня с таможенниками шел скандал из-за книг, которые я везла. Но я все же с трудом отвоевала Андрюшину книгу «О стране и мире» на итальянском языке. Наконец я, распаренная и злая, оказалась в зале и, как пишут в плохих романах, упала в объятия Андрея. Потом пошла по рукам — обнималась с детьми, друзьями, корреспондентами. Мы все оказались в кольце одинаково плотных мужиков в одинаковых пальто. И так толпой двинулись к выходу. В дверях нас остановил какой-то возглас. Толя Гладилин стоял в центре опустевшего зала и кричал: «Чья сумка? Чья сумка?» Сумка была моя. Как она оказалась на полу, я не знаю. Но в ней, кроме паспорта, были 10 000 долларов, которые я только что продекларировала на таможне. Бог с ними, с долларами. Там была нобелевская медаль — 600 грамм золота с портретом Нобеля и выгравированным по ободу именем Андрея. Это за ней я моталась в Осло и чуть не оставила на полу аэропорта Шереметьево.

На улице нас ожидал последний сюрприз нобелевского марафона. У всех машин — нашей, кого-то из друзей, корреспондентских оказались проколоты шины.

На следующий день я получила от Лидии Корнеевны Чуковской комплимент, которым очень горжусь. Она сказала: «Люся, слушая вас в эти дни, я поняла, чем МЫ отличаемся от НИХ — русским языком».

А от Андрея получила подарок — машинопись Нобелевской лекции «Мир, прогресс, права человека». На первой странице с левой стороны лиловыми чернилами сделана надпись: «Дни, когда мы были далеко друг от друга и близко, когда мы гордились друг другом и оба трудились. С любовью Андрей. Осло, Вильнюс, декабрь 1975».

Год 1976

После моего возвращения в Москву мы два или три месяца жили как бы на два дома. Вся хозяйственная и так называемая общественная жизнь за отдельными исключениями шла на улице Чкалова, а ночевать мы ездили в мою квартиру в Новогиреево. Нашу комнату на Чкалова заняли Таня с Ремой и двумя маленькими. Сделано это было не только из-за боязни повторяющихся угроз детям. После четырехмесячной разлуки очень уж хотелось хоть часть суток быть вдвоем. Уезжали мы обычно туда вечером, иногда не раньше полуночи. Завтракали там вдвоем. Вообще — утро вдвоем у нас все годы было самым любимым временем. Потом Андрей 2—3 часа работал: что-то по физике и писал автобиографию для Нобелевского сборника. Потом ехали на Чкалова, и там шла наша обычная жизнь с регулярными вторниками и гостями, людьми и бумагами. И вечером опять в Новогиреево. Андрей говорил: «Поехали к себе». И в этом было не только указание на место пребывания, но другое, какое-то внутреннее «к себе». Однажды ночью вышли из дома позже, чем обычно, потому что был старый Новый год. У подъезда на Чкалова нас поджидали три мужика. Один из них сорвал с головы Андрея шапку, и они побежали от нас, что-то крича. По выкрикам стало понятно, что это не случайные грабители, а все те же наши друзья из КГБ. Шапку ондатровую я буквально накануне купила в «Березке». Ее было жалко, но страшно не было. Видимо, мы уже привыкали к подобным «шуткам». И эта кража как-то очень вещественно подтвердила, что я вернулась домой.

Однажды в эти дни кто-то из корреспондентов задал мне вопрос: изменилась ли наша жизнь после того, как Андрей стал лауреатом Нобелевской премии Мира? Тогда я ответила — нет. Теперь, спустя более четверти века, я не могу сказать столь определенно. Думаю, что произошли два изменения. Все, что говорил и писал Андрей, стало более слышно, получало больший отзыв в западных массмедиа и вызывало больший интерес. И неважно, какой знак — положительный или отрицательный — был у этого интереса.

И анализируя, а если проще, то вспоминая последующие события, я вижу, как стало нарастать давление на нашу семью.

После суда над Ковалевым Ефрема уволили с работы, хотя на суд он ездил в свои законные по советским нормам выходные дни. Для этого он сдавал кровь и получал полагающиеся за это отгулы. После увольнения Ефрем устроиться на работу в СССР

больше уже никогда не смог. По специальности не брали, а в чернорабочего тоже не годился — был больно образован. В 1977 году это обернулось попыткой властей преследовать его за «тунеядство». Мы далеко не сразу поняли, что власти своим давлением стремятся вынудить Ефрема и Таню с детьми на эмиграцию. Надежда на получение квартиры от Академии (Андрей в это верил) не оправдалась. Объединить путем обмена мою и мамину квартиры, без того, чтобы Андрею что-то дала Академия, нам не разрешили. Когда я нашла обмен, комиссия райисполкома его запретила. Мы подали заявление в суд, но, как сказала судья открытым текстом одной из участниц обмена, «советский суд не защищает права людей, у него другие задачи».

И последним шагом органов безопасности в давлении на нас было возбуждение уголовного дела против мамы Ефрема и Тани. Тут власти проявили абсолютную психологическую чуткость. Вряд ли Ефрем согласился на эмиграцию, если б дело было возбуждено против него. Они и пытались до этого сфабриковать дело о не имевшем места наезде на несуществующего пострадавшего. Но это не привело к желаемому ими результату. А вот уголовное дело против матери и жены сработало.

В общественном плане активность Андрея не снижалась, но появились вокруг упорные разговоры, что он вроде как отошел от общественной жизни. Получил премию и успокоился. Большинство подобных слухов родятся в кабинетах 5-го управления КГБ и с удивительной легкостью подхватываются на московских кухнях, для очень большого числа людей в стране становясь как бы неопровержимым фактом.

Именно это стало для Ефрема Янкелевича одним из побудительных (хотя и не главным) мотивов для работы над книгой «Тревога и надежда» с подзаголовком «Один год общественной деятельности Андрея Дмитриевича Сахарова». Оказалось, что выступлений в защиту отдельных людей, по общим правозащитным проблемам, по вопросам разоружения и отдельных статей в 1976 году было не меньше, чем в предыдущие годы.

Из личных событий — они же и общественные. Мы дважды летали в Омск на суд Мустафы Джемилева. Навестили в ссылке Андрея Твердохлебова. Летели до города Мирного. Там провели сутки, потому что вдруг отменили полеты маленьких самолетов (не из-за погоды, из-за нас), а только по воздуху можно было добраться до якутского города Нюрба. Почти целый день бродили вокруг колоссальных гор породы, в которых рылись местные бомжи, видели знаменитый алмазный карьер. А в Нюрбе с нами повторилась в современном варианте история жен-декабристок,

которых по пути к мужьям задерживали все губернаторы и полицейские чины. Мы дошли до окраины поселка, надеясь попасть на автобус или поймать попутку. Но там нас задержал милицейский патруль и доставил в местный отдел КГБ. Начальник признался, что он отменил рейсовый автобус, и сказал, что никакая попутка нас не возьмет. Я сказала ему на это: «Ну отвезите нас туда на мотоцикле с коляской. К вам же нас так доставили». На это ответил с издевкой: «Что вы, Елена Георгиевна, Андрей Дмитриевич может простудиться». — «Ну, мы пойдем пешком». — «Что вы, это ж Якутия, в лесу бандиты». Почему весь этот разговор вела я — не помню. Но вообще, у Андрея была такая манера. Если я ввязывалась в словесную перебранку, он обычно молчал и улыбался, глядя на меня. Похоже, получал удовольствие. И мы прошли ночью пешком по тайге более 20 километров до дальней якутской деревни Нюрбачан. Эта ночь запомнилась не одиночеством в глухом лесу, а гармоничным ощущением нашей близости и уверенности, что мы поступаем так, как надо. Я не умею рассказать, как хорошо нам было вдвоем звездной ночью в якутской тайге где-то около полярного круга.

Но это был год трагических потерь в близком, самом близком нашем кругу. В марте безвременно ушел из жизни Гриша Подъяпольский. Это был человек чистый и как немногие соответствовавший идеальным понятиям диссидент и правозащитник. Ведь в любом сообществе близость к идеалу встречается редко.

В мае какие-то ненайденные по сей день следствием (искали ли их?) бандиты раскроили череп Косте Богатыреву, и спустя месяц он умер в больнице, не приходя в сознание. Хоронили его в Переделкине 20 июня.

А на следующий день мы узнали, что 19 июня в Бомбее скоропостижно скончался мой брат Игорь Алиханов во время плавания на своем корабле «Ленинский Комсомол», где он служил старшим помощником капитана (из-за беспартийности он не мог стать капитаном, хотя давно наплавал положенное число миль, имел высшее мореходное образование и соответствующую выслугу лет). Хоронили мы его в Москве 26 июня на Востряковском кладбище. В эти дни меня как наваждение преследовала одна мысль «И у мамы сына больше не будет никогда. И брата у меня больше не будет никогда». Не оставляет она меня и теперь.

В июле в Тбилиси проходила Рочестерская конференция по физике высоких энергий. За эту неделю как-то окрепли, перешли в личную дружбу отношения с Викки Вайскопфом и Сиднеем

Дрелом. Викки, в отличие от Сиднея и Андрея, манкировал заседаниями, и мы с ним много времени провели, знакомясь с городом и посещая студии разных грузинских художников. Гидом нашим был Звиад Гамсахурдиа — красивый, обаятельный, явно, но не раздражающе любующийся сам собой. Все, что проявилось в нем позже, тогда не было видно или я была недостаточно наблюдательна. Последующие события — конца 80-х, его антиабхазский марш, резкое (даже грубое) открытое письмо Андрею, апрельские события в Тбилиси, изгнание из Грузии и последний приют у Джохара Дудаева (единственного, кто повел себя по-человечески по отношению к экс-президенту Грузии) на многое заставили смотреть по-другому. Но это не смягчает ощущения трагичности всей жизни и судьбы Звиада — сына знаменитого писателя Константина Гамсахурдиа, любимца Сталина. Для Грузии Звиад был — почти королевич, диссидент, первый президент Грузии, потом изгнанник, беглец. И наконец — самоубийство.

С Викки и Сиднеем связан и другой эпизод. Они принесли нам конверты с деньгами, которые они получили от организаторов конференции. Оба были очень смущены и расценивали это как некий вид подкупа. Получили ли подобные конверты другие западные участники конференции, они не знали. Но их принимали по рангу, явно более высокому, чем других — поселили не в гостинице, где жили все остальные, а в каком-то правительственном доме приемов, хотя это было им неудобно, так как затрудняло неформальное вненаучное общение, к которому они оба стремились. Деньги эти мы передали их безработным в то время коллегам — Турчину и Орлову. А я с этими конвертами получила доказательство тому, что всегда подозревала — западных ученых впрямую прикупают.

Еще на этой конференции я впервые заметила, что наши советские ученые стали вне научных заседаний сторониться Андрея (российские — не грузинские или из других республик).

Кончался год, и я думала о своих личных свершениях. В конце 1974 года я посоветовала Андрею написать обстоятельное открытое письмо сенатору Д. Бакли, в котором он мог бы обсудить основные проблемы современности. Из письма родилась книга «О стране и мире». Летом 1975-го с семейным скандалом я уговорила Андрея заказать в академическом пошивочном ателье два костюма и пальто. И с угрозой развода заставила начать заниматься вождением автомобиля, потому что какой же это мужик, если боится сесть за руль. Потом мы пережили шок от болезни Моти, прошла моя глазная операция, родились две внучки. И на мою долю выпало представлять Андрея на

Нобелевской церемонии — все и ответственное, и радостное, и трудное, что связано с ней. Досталось это мне только потому, что КГБ (формально — ОВИР) ровно год не давал мне визу. А одним из главных достижений 1976 года стало согласие Андрея, после моих долгих и нудных уговоров и упорного его сопротивления, начать вести дневник.

Я бесконечно благодарна моей дочери Татьяне, которой за время моей работы с дневниками пришлось десятки раз (я не преувеличиваю — счет пошел на третий десяток) срочно отвозить меня в госпиталь, проводить рядом со мной бессонные ночи, а потом вновь возвращать к рабочему столу и компьютеру.

Я благодарна Галине Авербух, которая сделала для моих глаз непосильную работу — компьютерный набор и была первым моим редактором. Я благодарна Виталию Романенко, который вместе с Галиной подготовил именной указатель к дневнику, и Борису Болотовскому, выверившему всю научную часть дневника и сделавшему ряд важных замечаний по его текстам. Их работа стала возможной благодаря финансовой поддержке бизнесмена из Германии Михаила Бойко и российского фонда «Династия» и его президента Дмитрия Зимина.

Я благодарна Эду Клайну и моему сыну Алексею за их постоянную поддержку и за благожелательные советы, которые я получала от них в эти три года.

16 ноября 2004 года

От редакции

В свое время журнал «Знамя» впервые в России опубликовал «Воспоминания» Андрея Дмитриевича Сахарова (1990, №№ 10—12, 1991, №№ 1—5). Сейчас мы вновь обращаемся к его наследию.

Роман-документ — такой необычный жанр сложился после расшифровки Е.Г. Боннэр дневниковых тетрадей А.Д. Сахарова, охватывающих период с 1977 по 1989 годы. Записи эти потребовали уточнений, дополнений и комментариев, осуществленных Еленой Георгиевной. Мы печатаем журнальный вариант вводной главы к Дневникам.

Полный текст Дневников готовится к публикации в составе Собрания сочинений А.Д. Сахарова в 7 томах, куда также войдут его публицистика и мемуары. Тем самым читателям наконец будет представлен основной корпус произведений Андрея Дмитриевича (за исключением научных работ в области физики). Этот проект издательство «Время» предполагает осуществить к 85-летию академика А.Д. Сахарова в мае 2006 года.

notes

Примечания

1

1 Это был типичный сам- и тамиздатский процесс, в котором главным пунктом обвинения была книга Авторханова «Технология власти». Пименов и Вайль давали ее читать знакомым. Одна из читательниц сообщила об этом в органы.

2

2 «Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе».

3

3 «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день за них идет на бой». Гете.

4

4 Они собирались перелететь на нем в Швецию и надеялись таким образом осуществить свое стремление жить в Израиле. Сегодня (2004 год) все они, кроме одного, там и живут.

5

5 Мое детство с 6 и до 14 лет прошло в этом доме, который в 20-е годы из гостиницы был превращен в жилой дом для сотрудников Коминтерна. А мой отец до ареста в мае 1937 года был членом Исполкома Коминтерна и заведующим отделом кадров.

6

6 Не совсем законная демонстрация фильма А. Тарковского «Андрей Рублев» была 19 января. Фильм был запрещен к прокату. Против Шихановича и его напарницы, которые организовали показ, было возбуждено уголовное дело. Но пока тянулось следствие, фильм был разрешен в прокат, и дело прекратили.

7 «Хроника текущих событий».

8

8 В. Файнберг — участник демонстрации на Красной площади против ввода войск Варшавского договора в Чехословакию. В. Борисов был в эти дни в Москве и (кажется?) принимал участие в обсуждении этой акции. Оба находились в ленинградской психиатрической больнице в Удельной.

9

9 Иван Васильевич Семенов, доцент кафедры судебной медицины 1-го Лен. Мед. Ин-та. Мой сокурсник, возлюбленный, муж, отец моих детей. Фактически мы разошлись в 1966 году после 17 лет счастливой семейной жизни.

10

10 В начале 60-х я работала в Ираке и, соответственно, в доме у всех были заграничные шмотки.

11

11 Из док. КГБ: «16 декабря 1970 г. Дело оперативной проверки на Е.Г. Боннэр было передано из УКГБ по Москве и Московской области в 1 отдел 5 Управления КГБ СССР».

12

12 Андрей в «Воспоминаниях» неверно указывает другое время знакомства с Монгайтами.

13

13 Цецилия Ефимовна Дмитриева, в течение ряда лет зав. редакцией журнала «Знамя».

14

14 Мария Ефимовна Разумовская, бывшая узница ГУЛАГа (ЧСИР — член семьи изменника родины) в какие-то годы работала машинисткой тоже в журнале «Знамя».

15

15 Женщины — инвалиды войны имели право уйти на пенсию в 50 лет, а мне по паспорту исполнялось 50 в феврале 1972 года.

16

16 Мать ее мужа Михаила Либермана, фамилии не знаю (но может, такая же, как у сына?).

17

17 Открытое письмо 40 евреев (автор математик Юлиус Телесин?) в 1969 году о том, что они готовы идти хоть пешком в Израиль с одним чемоданом. Точно не помню, но письмо это эмоционально было как «Отпусти народ мой».

18

18 Ахчик по-армянски — девочка.

19

19 Я думаю, что это не так. Последний раз его выпустили за рубеж в 1969 году, а характеристику эту он написал в 1972-м.

20

20 5 сентября на заседании Секретариата ЦК КПСС принято решение опубликовать 7 сентября статью Л. Замятина «Быть советским ученым — значит быть патриотом» и этим закончить газетную кампанию.

21

21 Вообще-то я тогда очень резко восприняла слова Зельдовича. Думаю, если б теперь (возраст, что ли), моя реакция была бы мягче.

22

22 Смешно, но точно так КГБ называло свои документы, в которых давало для ЦК КПСС развернутые, всегда тенденциозные, а часто и лживые характеристики разных диссидентов.

23

23 Террористическая организация, которой руководил Ясир Арафат.

24

24 Профессор Александр Раскин был со школьных лет ближайшим другом одного из моих приятелей по ДЛВШ Алика Гольдберга и почти членом нашей ДЛВШ-компании.

25

25 А.И. Микоян был с ранней юности близким другом моего отчима Г.С. Алиханова. В годы обучения в Тбилисской духовной семинарии они снимали одну комнату. Потом вместе ушли в армию Андроника, воевавшую против турок, вместе ушли из дашнаков в большевики. Эта дружба была прервана только арестом Алиханова в 1937 году и его гибелью.

26

26 У Алеши в детстве был тяжелый ревмокардит, и он неоднократно лежал в больнице и месяцами находился в детских кардиологических санаториях.

27

27 Людмила Меднис, врач, жена моего школьного друга Шуры Медниса, под присмотром которой Таня рожала, и по моей договоренности должна была, как я предполагала, рожать Люба. Трехдневный отпуск у нее был в связи со свадьбой дочери.

28

28 Томар Самойловна Фейгин, мать Ефрема.

29

29 За несколько дней до отъезда в Италию я после небольшого семейного скандала добилась согласия Андрея заказать в ателье Академии наук два костюма и пальто. Стоило это несколько дороже, чем в ателье для обычных граждан, но считалось, что там лучше шьют. Однако на поверку оказалось — хуже.

30

30 Встреча в 1970 году в Калуге на суде Пименова и Вайля.

31

31 Телеграмма о рождении Кати пришла 6-го вечером. Мы были всей компанией в ресторане около почты, и с почты нам принесли ее прямо туда, а сотрудники ресторана передали нам вместе с тортом, который у итальянцев называется «Дольче ля Нонна» — сладкое для бабушки.

32

32 Соджорно — документ с фотографией предъявителя, выдаваемый итальянской квестурой (МВД) на право временного проживания в Италии.

33

33 Ефрем не только пассивно был на стороне Андрея, но фактически со своей железной логикой сумел переубедить. Думаю, без его вмешательства Андрей не принял бы этого решения. А в отношении Тани и Алеши мама несколько преувеличила.

34

34 Анна-Мария (фамилии не помню), корреспондент одного из итальянских агентств. Почти с каждым знакомым, едущим из Италии в Москву, я посылала какие-нибудь подарки, в основном детские вещи и своим внукам, и окружающим детям.

35

35 Леви — корреспондент канадской газеты, который брал у меня интервью во Флоренции. Глобус (модель Коперника) я послала с ним в подарок Андрею.